

# ЖОЗЕФ ДЕ МЕСТР — ПЛАМЕННЫЙ КОНТРРЕВОЛЮЦИОНЕР НАЧАЛА XIX ВЕКА

## ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПЕРЕВОДЧИКА

*«Он был одарен щедрой и благородной душой,  
а все его книги словно бы написаны на эшафоте»*  
аббат Фелисите Робер де Ламенне о Жозефе де Местре  
(письмо графине фон Зенфт от 8 октября 1834 г.)

## РЕАКЦИОННОСТЬ И КОНТРРЕВОЛЮЦИОННОСТЬ

Весьма трудно писать о людях, о которых написано намного больше, чем они оставили после себя произведений, трудов и статей. К таким, несомненно, можно отнести графа Жозефа де Местра: его творчество исследовано досконально европейскими и американскими учеными, начиная со второй трети XIX столетия и по наши дни. Идеи графа об абсолютной монархии в союзе с христианской абсолютной теократией продолжают привлекать неоконсерваторов, католических традиционалистов и православных фундаменталистов. Их изучают даже в Исламской Республике Иран. Действительно, они становятся все более популярными сегодня, когда вполне очевиден «закат Европы», то есть всемирной эмпорократии в лице англо-протестантской цивилизации потребления, основы которой были заложены в XVI веке женеvским наставником Жаном Кальвином, крайне превратно истолковавшим Библию и Евангелие, сделавшим кальвинизм, а вместе с ним и основной массив протестантства, вполне достойными исповедания рыночных торговцев. Парадокс: «нищая» религия Кальвина, храмы которой из-за полного отсутствия культовых предметов напоминают скорее синагоги, чем церкви, породила богатых торговцев и банкиров! По мнению де Местра, рецепт лекарства для европейских народов от поглощения протестантской эмпорократией, уже сбросившей с себя обветшавшие религиозные ризы, прост. Это обращение к монархическому устройству и христианской теократии. В противном случае, гибель цивилизации предрешена. Конечно, здесь речь не идет о таких современных бутафорских формах монархии, как в Англии или Голландии, да и сам протестантизм, исходя

из де Местра, не может претендовать на роль теократической религии. Отсюда необходимо обращение протестантских народов в католицизм либо восточное христианство католической традиции. Отметим, что де Местр, своим произведением «О Папе» приложивший руку к торжеству догмата о «непогрешимости» Римского епископа на Первом Ватиканском Соборе, никогда не поддержал бы либеральных реформ католической церкви, принятых на Втором Ватиканском Соборе. Посему в нынешнем контексте о фундаментализме де Местра можно говорить как о фундаментализме правого католика-интегрита, но уж никак не современного римского католика, не имеющего даже внятного понятия о тридентской мессе.

«Пламенный реакционер» — так назвал Николай Бердяев Жозефа де Местра в «Новом Средневековье». Хотя де Местр скорее контр-революционер, чем реакционер. Ибо реакционер всегда тянет к старому, т. е. к дореволюционному укладу вещей, тогда как контр-революционер, переживая случившееся, положив свою жизнь на борьбу с революционным безумием, предлагает свой выход из положения, который гораздо плодотворнее реставрационных устремлений реакционера. Порой контр-революционера увлекает иллюзия поза- и даже поза-позавчерашнего дня, но никогда он не станет черпать своей идеологии в дне вчерашнем. Реакция само по себе пассивное понятие, она сопротивляется благодаря, а не вопреки. В то же время контр-революция является действенным началом, пытающимся в себе преодолеть грехи вчерашнего дня, мятежную смуту настоящего и, переломив революционную лихорадку, заложить основы нового порядка вещей. Если в революции, несмотря на лозунги, превалируют разрушительные стихии, то в контрреволюции сосредоточен творческий принцип, будь он положительный или отрицательный. Де Местр был именно контрреволюционером, отсюда его симпатии к Наполеону, сумевшему обратить революцию в русло контрреволюции. Из других известных контрреволюционных деятелей можно привести Петра Столыпина, адмирала Колчака, генерала Лавра Корнилова, Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина. Последним двум, так или иначе, удалось воплотить свои контрреволюционные замыслы. К числу ярких реакционеров относится испанский каудильо Франсиско Франко: он не предложил новой модели развития страны, но на несколько десятилетий сохранил в ней консервативный католический режим, вместо того чтобы, подобно Игнатию Лойоле, поднять знамя европейской католической контрреволюции. Реакция может только притормозить. Контрреволюция способна преобразить. Ибо реакционеры почти всегда посредственности, а контрреволюционеры, как правило, харизматические личности. Если реакционеры лишь охранители своего статуса и привилегий, то контрреволюционеры в высшей степени государственники, «единонеделимцы». Из революционеров могут полу-

читься контрреволюционеры, из реакционеров — никогда. Это прекрасно понимал Жозеф де Местр и, презирая «слезливых» французских эмигрантов, осевших в Санкт-Петербурге, в бонапартизме видел будущее Франции.

В этом аспекте неслучайно обращение Жозефа де Местра в ранний период своего творчества к мистическому масонству и протагонистам так называемого «христианского иллюминизма», представителями которого являются Жак Мартинес де Паскуалис, Луи-Клод де Сен-Мартен, Жан-Батист Виллермоз, Дом Антуан-Жозеф Пернети и др. Любопытная деталь: если в своей книге «О Папе» де Местр ратовал за принятие догмата о папской непогрешимости, то Пернети в своем трактате «Добродетели, Сила, Милосердие и Слава Марии, Матери Божией» (Париж, 1790) отстаивал догмат непорочного зачатия Девы Марии, утвержденный римо-католической церковью в 1854 году. Кстати, в разработанном Пернети ритуале авиньонских иллюминатов особое место отводилось Пресвятой Деве Марии. Однако первые произведения де Местра целиком и полностью проникнуты идеями Луи-Клода де Сен-Мартена (1743-1803). Ярчайший пример тому — «Письма савойского роялиста» (1793) и «Рассуждения о Франции» (1796), навеянные сочинением Сен-Мартена «О заблуждениях и истине, или Воззвание человеческого рода ко всеобщему началу знаний» (единственное переведенное на русский язык еще в конце XVIII века произведение французского мистика). Сен-Мартен или Неизвестный философ, пожалуй, первый заговорил о том, что люди должны повиноваться непреложному закону Творца — Провидению, и действовать во имя его; в противном случае — человечество ожидает беды, войны и катастрофы, подобные Великой Французской революции и прочим потрясениям. Под влиянием Сен-Мартена де Местр сформулировал и развил свою теорию врожденных идей, хотя провиденциальную концепцию Неизвестного философа преобразовал в стройную картину Мироздания иной теософ — Антуан Фабр д'Оливе (1767-1825). До конца своих дней оставаясь «мартинистом», де Местр для подтверждения истинности христианства пользовался священной литературой других религий, в том числе греко-римского язычества. Подобный подход, хотя и берет свое начало в Эпохе Возрождения, очень характерен для последователей Сен-Мартена. Отчасти благодаря ему и возникло во второй половине XIX столетия во французских оккультных кругах учение о Синархии (Александр Сент-Ив д'Альвейдр, Папюс и др.), связанное в России с именами Владимира Шмакова, Григория Мебеса и Валентина Томберга. Сегодня можно смело говорить о том, что сочинения Жозефа де Местра, наряду с трудами Луи-Клода де Сен-Мартена и Антуана Фабра д'Оливе, предстают не только предтечами, но краеугольными камнями синархического мировоззрения.

## Парадоксальность религиозного мировоззрения де Местра: традиционализм и модернизм

Воспитанный в строгом католическом семействе Жозеф де Местр а priori считал идею папства не только органичной для римо-католицизма, но и присущей ранней христианской церкви. Правда, в одном месте своего «Опыта о всеобщем начале политических конституций и иных человеческих установлений» он делает оговорку, признавая, что нынешнее папство является все же закономерным развитием (т. е. эволюцией) врожденной идеи, но не самой идеей. Весьма ценное откровение и, наверное, одно из немногих суждений де Местра, возникших под влиянием католической схоластики. Поясним: концепция Папы Римского как видимого наместника Бога на земле зарождается в Средние Века и представляет собой венец средневековой схоластики, клерикального аристотелизма, хотя сам догмат «О непогрешимости Папы Римского» и был утвержден только на Первом Ватиканском Соборе. По сути схоластика, выросшая из осужденной пелагианской ереси, знаменует разрыв с прежним учением Западной Церкви, известным под именем августинизма. Французский мистик Антуан Фабр д'Оливе полагал, что доведенный до абсурда августинизм породил разрушающий христианство кальвинизм, а подспудно сакрализованное Западной Церковью в виде схоластики пелагианство произвело на свет формализм, юридизм и экстазм религиозного сознания. С тех пор любые западные религиозные смуты суть борьба августинизма с пелагианством или янсенизма со схоластическим иезуитизмом. Опасность последнего для судеб церкви прекрасно предвидел Жозеф де Местр, яростно критиковавший одну возможность появления теологии эволюционного модернизма, которую благословил полтора столетия спустя Второй Ватиканский Собор. Именно здесь и кроется духовная драма Жозефа де Местра, красной нитью прошедшая сквозь все его творчество, когда, обращаясь к святоотеческому наследию неразделенной христианской церкви, он пытается им оправдать средневековые доктринальные нововведения католицизма чисто схоластического и эволюционистского характера. Используя данный подход, де Местр написал книгу «О Папе», не сумевшую стать убедительной апологией, но так и оставшуюся лишь великолепным оправданием папства. Несомненно де Местр — отец католического традиционализма, тяготеющего к августинизму и пытающегося сегодня примирить свою консервативную доктрину, застывшую на решениях Первого Ватиканского Собора, с модернистским папизмом периода после Второго Ватиканского Собора. Сказав «а» традиционалисты не хотят сказать «б», т. е. вернуться к истинной традиции или учению Святой Соборной и Апостольской Церкви первых десяти веков христианства. В этом и состоит трагическая парадоксальность мировоззрения де Местра и католических

традиционалистов, мировоззрения, зависшего между двумя полюсами христианского вероучения, характеризуемыми эволюционным римским католицизмом и мистическим православием восточной церкви.

## Теократия по де Местру и ее завершение в синкретической оккультной теократии

Подобно тому как Жозеф де Местр пытается облечь янсенизм в иезуитскую сутану, он пытается обосновать и свое теократическое видение, напрямую связанное с первенством Римского епископа в христианской церкви. Здесь он совсем не оригинален и мало чем отличается от своих современников, приверженцев теократической государственности: Луи де Бональда, Людвиг фон Галлера и Адама Генриха Мюллера. Казалось бы нет ничего более стройного: идея теократии является врожденной, непостижимой в своих истоках, и для ее реального воплощения в жизнь необходим определенный догмат. Вот здесь и скрыта ловушка, ибо всегда велик соблазн объяснить иррациональное рациональным, разложив его по полочкам. Именно этого и не удалось избежать де Местру.

Выдающийся православный богослов отец Иустин Попович справедливо отмечал, что Церковь на семи Вселенских Соборах догматизировала вероучение, относящееся исключительно к божественной личности Искупителя Христа. Все же иные проблемы исповедного, а также устроительного характера разрешались принимавшимися на соборах правилами и канонами. Следовательно, догматизация папской непогрешимости есть констатация заблуждения папоцезаризма, а вовсе не догматическое творчество, как то пытались представить католические богословы и теософы от политики Жозеф де Местр. Единство, соборность (кафоличность) Церкви Христовой заключается в ее едином исповедании, выраженном в Апостольском и Никео-Цареградском Символах Веры, ее единых таинствах, но отнюдь не в примате Римского епископа. Последний может обеспечивать церковное единство, а может и вовсе не обеспечивать такое, уклонившись, предположим, в ересь. История знает достаточно пап, впадавших в течение двух тысячелетий христианской истории в разнообразные заблуждения (порой тяжкие). Так способен ли догмат о непогрешимости, пусть и ex cathedrae, гарантировать ортодоксальность того или иного папы? Ответ очевиден. Но этот догмат сам по себе опасен, поскольку личность папы в нем возводится на уровень личности Богочеловека Христа. У Жозефа де Местра папа является викарием Христа, у Антуана Фабра д'Оливе — наместником и орудием Божественного Провидения. У обоих французских философов налицо буквальный и крайне формализованный подход к присутствию Спасителя в своей церкви, когда не имеет

смысла уже говорить о заслоненном Римским Папой тайнообразующем Христе-Логосе, свято хранимом в вероучении Восточной Церкви. Как-то раз беседуя с Жозефом де Местром и выслушав его красноречивую проповедь ультрамонтанства, русский император Александр I сделал непередаваемый жест рукой и сказал: «Все это очень хорошо, господин граф, — но все-таки в христианстве есть что-то еще такое, что идет дальше этого».

Итак, остается признать, что теократическое воззрение де Местра сугубо бюрократического характера, а потому является паллиативом и даже пережитком прошлого. Христианский мир знал органичную теократию древней Вселенской церкви, исходившую из глубины общины первохристиан. Папство создало на территории Западной Европы модель совершенно иной насаждаемой сверху клерикально-казарменной теократии. Это ли закономерное развитие врожденной идеи по де Местру? Благодаря злоупотреблениям латинства появился на свет протестантизм, который, подвергнув ревизии христианские ценности, еще больше, нежели Римская церковь, отошел от истинно-христианского вероучения, создав современную эмпорократическую либеральную цивилизацию, где нет ничего абсолютного, кроме денег. Отсюда чересчур терпимое отношение современных протестантов к проявлению всякой нехристианской религиозности и, как следствие, тихое забвение собственной веры во Христа: «Се оставляется дом ваш пуст...»

Со своей стороны великий русский философ Алексей Лосев отметил неосуществимость и даже утопичность христианских теократических концепций Жозефа де Местра и Владимира Соловьева, в основе которых лежит папоцентричность, ибо нельзя дважды войти в одну и ту же реку.

Характерно, что теократическое мировоззрение Жозефа де Местра прекрасно восполняет теократическая идеология Антуана Фабра д'Оливе, изложенная в замечательном сочинении последнего «Философическая история Человеческого Рода» (готовится к выходу в свет в издательстве «Энигма»). Фабр д'Оливе вносит рационалистические элементы в безусловный иррационализм де Местра, упорядочивая и системазируя его теократическую концепцию. Можно даже сказать, что папоцентрическая теократия Фабра д'Оливе есть логическое завершение мировоззренческих посылов де Местра. Но поразительно здесь следующее: в облике Папы Римского у Фабра д'Оливе проступают черты уже не Христова викария, а синкретического главы всех мировых религий, верховного медиума и персонифицированного орудия Провидения, о чем по сути гораздо позже мечтал католический эволюционист и мистический материалист Тейяр де Шарден. Иными словами, у Фабра д'Оливе налицо уже оккультная теократия, в сторону которой весьма уверенно смещается папство после Первого и Второго Ватиканских Соборов. И здесь цели транснационального либерального закулисы и модернистского католицизма, несмотря на непрекращающуюся взаимную неприязнь, практически совпадают. Гениальный

Фабр д'Оливе не решился публиковать последнюю главу своего вышеназванного произведения, в которой давал методологию перестройки человеческого общества на новый синкретический теократический лад: очевидно испугался последствий осуществления собственного проекта. Вскоре его нашли убитым в своем пифагорейском святилище. Поговаривали даже, что его убрали иезуиты.

Необходимо подчеркнуть, что, утверждая римскую теократию, Антуан Фабр д'Оливе и Владимир Соловьев пытаются опереться на философское учение о Всеединстве: коль все едино, то должен быть и один зримый пастырь, то есть Папа Римский. Хотя последнее есть еще одно заблуждение, ибо никакой зримый пастырь сам по себе и без мистического вмешательства не в силах гарантировать Народу Божию истинную веру. Осознавая это, отдельные католические богословы предлагали даже ввести особое восьмое таинство Папы, освящающее догмат о непогрешимости определенной божественной властью. Так, эволюционизм в угоду «догматическому творчеству» вторгается уже в Святая Святых, нарушая священное предание и святоотеческое соборное учение о таинствах.

Между тем, мистериальное языческое дохристианское начало папства блестяще выявил немецкий антропософ Рудольф Штейнер, когда, разбирая книгу де Местра «О Папе», писал: «наследие культуры Ормузда (т.е. отставшее) живет в латинском элементе, в латинской культуре; им пронизан и весь католицизм, как противником Ормузда — Ариманом — пронизана новая культура. В папстве — этим дышит вся книга де Местра — как будто инкарнирован сам Аура Мазда».

Основные вехи концепции Всеединства особенно ярко проявляются в сочинении Жозефа де Местра «Опыт о всеобщем начале политических конституций и иных человеческих установлений». Здесь у де Местра идеи Всеединства (высказывание о папе к ним явно не относится) еще не втянуты в орбиту эволюционной теории, как позднее в творчестве Фабра д'Оливе, и несут на себе отпечаток августинизма. Де Местр принципиален: из низшего не может возникнуть высшее, прогресс эфемерен, и вся история человечества представляет собой лишь духовный регресс на фоне непрестанного технического совершенствования. Идея общественного и государственного уклада дана в потенции человеку от Бога. Значит для де Местра категория августинианского Предопределения возникает из полного слияния Провидения и Необходимости с преимуществом первого и покорностью последнему, откуда и берет начало идея провиденциальной теократии и абсолютной монархии; тогда как Фабр д'Оливе пытается установить гармонию между Провидением, Судьбой и Человеческой волей и приходит к идее провиденциальной теократии с легитимной монархией, которая, по его мнению, является точкой равновесия между Судьбой (Необходимостью) и Человеческой волей. Ибо Судьба иррациональна по определению, а Воля посредством разума пытается придать всему рацио-

нальное толкование, в котором изначально заложена идея эволюционного развития.

Итак, де Местр — протагонист крайнего детерминизма, выраженного в синтезе Провидения с Судьбой (Необходимостью), на чем основывается и его историческая антропология. Он считает XV век, в котором о себе так громко заявила материалистическая философия, началом распада человеческой цивилизации. Интересно, что здесь он смыкается с радикальным учением староверов-беспоповцев (в частности, федосеевцев), считающих, что мир после Никоновой реформы русской церкви катится в пропасть благодаря коллективному антихристу, предшествующему появлению персонафицированного антихриста. Человечество, по де Местру, делится на две части: людей, принадлежащих к Царству Божию, и тех, кто относится к царству мира сего. Первые — это верующие в древнейшие истины, исчезнувшие к XV столетию, о которых толкует Августин, разделивший людей на предопределенных блаженству и проклятию. Внешне все люди в обществе перемешаны, но дух божественного мира строго отличает одних от других. Если люди, принадлежащие к царству мира сего, в древности впадали в суеверия, то с XV века они окончательно запутались в сетях неверия. Подобным образом де Местр воспринимал и Великую Французскую революцию вместе с торжеством западной эмпорократической цивилизации: теперь Божество уже не обязано оказывать людям милость, и воздаяние ждет каждого человека в день Страшного Суда, хотя изначально предопределено, кто куда из людей попадет.

До сих пор антропологические воззрения де Местра не удобны для апологетов Нового Мирового Порядка с их общечеловеческими ценностями и идеологией «пострелигиозности». Над созданием концепции «общечеловека» в постиндустриальном (читай пострелигиозном) мире потрудились многие интеллектуалы-гуманисты XX столетия, в том числе иезуиты: антрополог Тейяр де Шарден и психолог Берт Хеллинггер. У последнего и вовсе налицо возврат к «магическому психизму» или древнему пифагорейству в его новой соответствующей современности научной оболочке. Кстати, в нынешнем обществе всякое традиционное вероисповедание, утрачивая свое истинное предназначение, становится неким симулякром психологической магии, одинаково толерантной к проявлениям и греха, и добродетели. Недаром свое учение о душе Берт Хеллинггер, порвав с христианством, уже провозгласил религией (хотя по сути это оккультная пострелигиозность). Поскольку «душевность» человека наших дней предполагает гедонизм, то душевный комфорт, по Берту Хеллинггеру, заключен в пифагорейской золотой середине: ничего лишнего, не нужно, никакого равновесия нет места ни мученикам первых веков христианства, ни аскетам монастырей древней Фиваиды. В мире людей «золотая середина» есть некий абстрактный «общечеловек», сотворенный в теории буржуазных

правоведов, которым де Местр говорит: «Вы желаете равенства между людьми потому, что вы ошибочно считаете их одинаковыми... вы толкуете о правах человека, пишете общечеловеческие конституции; ясно, что по вашему мнению различия между людьми нет; путем умозаключения вы пришли к отвлеченному понятию о человеке и все приурочиваете к этой фикции. Это крайне ошибочный и неточный прием... Выдуманного вами общечеловека нигде на свете не увидишь, ибо его в природе не существует. Я встречал на своем веку французов, итальянцев, русских и т.д.; благодаря Монтескье я знаю, что можно быть даже персиянином, но я решительно вам объявляю, что сочиненного вами человека я не встречал ни разу в жизни... Поэтому перестанем витать в области отвлеченных теорий и фикций и станем на почву действительности». Происхождение и национальность у де Местра являются иррациональными категориями необходимости (Судьбы). Подобным образом, делая упор на иррациональную необходимость, де Местр трактует и смысл государственного устройства, закрепленный в конституции: «Всякая писаная конституция есть не что иное, как лоскут бумаги. Такая конституция не имеет престижа и власти над людьми. Она слишком известна, слишком ясна, на ней нет печати помазания, а люди уважают и повинуются активно в глубине сердца только тому, что сокровенно, таким темным и могучим силам, как нравы, обычаи, предрассудки, идеи, господствующие над нами без нашего ведома и согласия... Писаная конституция всегда бездушна, а между тем вся сущность дела в народном духе, которым стоит государство... Этот дух выражается, прежде всего, в чувстве патриотизма, одушевляющем граждан... Патриотизм есть преданность (*un devouement*). Настоящий патриотизм чужд всякого расчета и даже совершенно безотчетен; он заключается в том, чтобы любить свою родину, потому что она родина, т.е. не задавая себе никаких других вопросов — иначе мы начнем рассуждать, т.е. перестанем любить».

Однако антропология де Местра идет дальше и поглощается христианской этикой. Обладая иррациональной любовью к родине, всякий христианин должен быть и непримиримым борцом со злом, заблуждением и грехом. С пылом ветхозаветного пророка Жозеф де Местр утверждает: «По своей природе истина нетерпима, и исповедовать терпимость, значит исповедовать сомнение... Такая вера с необходимостью предполагает горячий прозелитизм со стороны ее исповедников, непреодолимое отвращение ко всякому нововведению, всегда пристальный взор, направленный на неблагочестивые замыслы и козни, а также бестрепетную и неустанную руку, вознесенную на всякое неблагочестие». Интересно, что сказал бы де Местр, увидев родную католическую церковь погрязшей в нововведениях Второго Ватиканского Собора и тенетах экуменизма. Впрочем, отвергшее Христа либеральное человечество, где правят гедонизм и золотой телец, а все живут по принципу «делай, что хочешь»,

только не попадай в поле уголовного кодекса», обречено на безразличную толерантность ко всему, вплоть до низменных устремлений человеческих страстей. С другой стороны, де Местр, о чем уже не раз говорилось, ратовал за введение в церковное учение вполне рационального догмата папской непогрешимости, который плохо вяжется с детерминистскими убеждениями философа. Но именно этот рационализм, принятый за основу на Первом Ватиканском Соборе, и покачнул в дальнейшем церковные устои, исподтишка позволив «прогрессивным» теологам ввести модную эволюционную теорию в церковное обращение и сделав возможными модернистские решения Второго Ватиканского Собора, будто бы продиктованные представителями неких левых оккультных эволюционистских кругов. И все же, отстаивая новые католические догматы, никогда не имевшие места в собственно католической ортодоксии, де Местр призывает Западную Церковь доктринально вернуться к богословию Тертуллиана, Блаженного Августина и Кассиана, порвав со средневековым аристотелизмом и схоластическими наслоениями томизма. Противоречивость де Местра лежит на поверхности: сначала он утверждает о непостижимости, даже врожденной иррациональности определенных церковных догматов, а затем ратует за чересчур рациональные догматы католицизма о сверхдолжных заслугах святых и непогрешимости Римского епископа. Догмат о сверхдолжных заслугах святых вызывает в памяти слова Святого Серафима Саровского: «Спасись сам и вокруг тебя спасутся другие». Но ведь из высказывания этого величайшего молитвенника, каким бы истинным и праведным оно не являлось, ни у кого из епископов и богословов Православной греко-католической церкви не возникло желания создавать формализованный догмат, поскольку и без догмата все понятно. Сегодня с горечью приходится констатировать, что догматическое творчество в рациональном ключе завело в тупик некогда отпавшую от вселенской католической традиции Римскую церковь, и затем, одобвив решения Второго Ватиканского Собора, она, сломя голову, ринулась в экуменизм, расставшись со своей божественной мессой и развернув алтари в своих храмах на протестантский манер. Сторонники Тейяра де Шардена торжествовали: эволюционизм, дремавший в схоластике Фомы Аквинского бодро пробудился и вырвался наружу. Впрочем, нынешнее состояние скорее относится к последним временам и «тайне беззакония», а также к той роли, в которой хотят видеть Римского первосвященника лидеры мирового эмпорократического закулисья. Они постараются из него слепить оккультного теократа, главу единой мировой синкретической религии, которая должна подготовить пришествие антихриста. Увы, подобные последствия «эволюционного» развития католической экклесиологии никак не мог предположить теоретизирующий католик Жозеф де Местр. Однако он предчувствовал многое и, ревностно упорствуя в своем ультрамонтанстве, все-таки призывал вернуться к августинизму и в

конечном итоге к учению единой неразделенной католической церкви первого тысячелетия нашей эры. Жалко только, что, долгое время прожив в России, де Местр так и не смог под скорлупой по-протестантски обюрокращенного официального православия рассмотреть черты подлинной католической традиции, свято хранимой Восточной церковью. Именно поэтому его кое-где остроумная, кое-где до сухости интеллектуальная критика русской церкви страдает неизбежной поверхностностью.

## Жозеф де Местр и православие

Нелюбовь де Местра к православной церкви скорее формально-интеллектуального, нежели вероисповедного свойства. В глубине души он прекрасно осознавал, что католичество со времени Реформации переживает грандиозный кризис, что всему западному христианству необходимо обновление на основе нравственно-аскетических ценностей православно-католического Востока. Он видел пропасть, раздвинувшуюся между церквями в 1054 году, и, обладая блестящим умом, не смог предложить ничего положительного для ее преодоления, кроме давно избитых идей политического католицизма с униатством и беспрекословным подчинением всех восточных церквей Верховному Понтифику. Поскольку православие в дни правления русского императора Александра I не обладало никакой политической составляющей, а русские епископы, совсем не отличаясь интеллектуальностью, в большинстве своем открыто исповедывали западнические протестантские взгляды, то оно ассоциировалось у де Местра с невежеством и перемешанной с суевериями народной верой. Для ученика иезуитов де Местра католицизм всегда олицетворялся с политическим проникновением и латинским обрядом, а потому просвещенный посланник Сардинского королевства, осуждая русских в приверженности архаическим церковным обрядам, сам того не замечая, превращался в обрядовера. И все же серьезным богословом Жозеф де Местр не стал, и его доходящая до казуистики критика православия зачастую носила внешний и, как у всякого публициста, конъюнктурный характер. Вот почему в своих полемиках с православными его почти никогда не использовали католические теологи. С другой стороны де Местр чувствовал, что католической церковности недостает подлинной мистики, из-за чего исказилось вероучение всей западной церкви, впад в схоластический юридизм и формализм. Единжды отвергнув «схизматическую» мистику восточного православия, де Местр никогда не прекращал своих мистических изысканий, с молодости имея склонность к доктрине эзотерического масонства, позднее названного мартинизмом. Он даже вынашивал утопический проект о возвращении через масонские ложи англикан, лютеран и прочих протестантов в лоно католической церкви.

Жозеф де Местр, несомненно, знал, что внешне кажущиеся незначительными различия католической и православной догматик в действительности пронизывают глубинные национально-ментальные слои. Переход от православия к католицизму это не просто преодоление догматических разногласий, а замена всего национально-культурного кода. Вот почему «Письму к православной» (*une dame russe*) де Местра предпослан эпиграф из Псалтири: «Слыши, дочь, и смотри, и приклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего» (Псалом XLIV, 11). Жозеф де Местр четко разумел, что можно быть либо православным, либо римо-католиком. И в самом деле насильственно созданный иезуитами в западно-русских землях в конце XVI столетия конфессиональный православно-католический гибрид, называемый униатством или греко-католичеством, до сих пор не любим ни римо-католиками, ни православными, что неоднократно искренне признавал в своих интервью глава Украинской греко-католической церкви кардинал Любомир Гузар. Римо-католики никогда не откажутся от намерения полностью латинизировать восточный обряд униатов, а православные от мысли вернуть их в ограду матери-церкви, от которой они некогда отпали. И такова участь любой из религиозных химер.

В 1815 году после крушения Наполеоновской империи возник вопрос о новом политическом устройстве Европы. Стала реальной идея европейского единства. Жозеф де Местр предлагал сплотить Европу вместе с Россией вокруг папского престола. Это не могло устраивать протестантских самодержцев и победителя Наполеона русского императора Александра I. Очередной парадокс: замысел традиционалиста де Местра оказался на тот момент слишком экуменическим, прямо в духе нынешнего времени, что еще раз подтверждает превалирование устремлений политического католицизма де Местра над религиозным. Акт о Священном союзе христианских государств был подписан в 1815 году в Вене в православный праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, но о Папе Римском там не говорилось ни слова. Принимавший непосредственное участие в создании текста Акта о Священном союзе русский дипломат Александр Стурдза написал статью «Рассуждение об Акте братского и христианского Союза 14/26 сентября 1815 года», в которой особо подчеркивал, что христианство, имеющееся в виду в Акте, это восточное православие. Потом вышла в свет брошюра Стурдзы «Рассуждение об учении и духе православной церкви», написанная, как и статья, по-французски, и предназначенная для пропаганды учения православной церкви в Европе. В ней Стурдза использует логику и методы своего противника де Местра для обоснования прямо противоположных воззрений. Брошюра Стурдзы стала духовным знаменем антикатолической реакции, начавшейся в России с объявления Высочайшего Указа об изгнании иезуитов из России от 20 декабря 1815 года (текст Указа составлен также Стурдзой по поручению императора). Между тем, Жозеф

де Местр, не называя Стурдзу по имени, посвятил IV часть своей книги «О Папе» критическому рассмотрению и опровержению взглядов этого православного фундаменталиста.

В 1937 году в «Литературном наследии» была впервые опубликована переписка Жозефа де Местра с идеологом русского умеренного консерватизма графом Сергеем Уваровым. Об этой переписке не упоминает даже автор самой известной биографии де Местра Триумф. Оба аристократа имели общий круг знакомых и посещали одни и те же салоны в Санкт-Петербурге. Именно в интеллектуальной атмосфере северной столицы, как отмечает российская исследовательница Мария Дегтярева, Жозеф де Местр превратился в последовательного ультрамонтана, причем больше с политической, нежели с исповедно-богословской точки зрения. Уваров, согласуясь с веяниями времени, поначалу являлся христианским синкретистом, полагая, что неверию должно противопоставить христианство, восстановленное в правах на надконфессиональной основе. С другой стороны, он считал крайне необходимым реформировать римско-католическую церковь, дабы избавить ее от нетерпимости по отношению к другим христианским исповеданиям (вполне в духе II Ватиканского собора). Исходя из подробностей переписки русского и француза, можно сделать вывод: взгляды харизматического консерватора де Местра оказали сильное воздействие на молодого англомана Уварова, подвигнув его к заметному «поправению» и осознанию особого пути России. Позже это выразится в тройственной идеологической формуле, введенной в обиход Уваровым: *Самодержавие, Православие, Народность*. Но ведь и Жозеф де Местр, по точному наблюдению Марии Дегтяревой, во всех своих произведениях проповедовал то же самое, пусть и с западным акцентом: *королевскую власть, католицизм и приоритет нации*. Как удивительно порой убеждения одного выдающегося человека преломляются и преобразуются в сознании другого! Именно так прорастает в мире идей зерно, упавшее на добрую почву.

## О значении двух небольших произведений петербургского периода Жозефа де Местра

Годы, проведенные де Местром в статусе посланника Сардинского королевства при русском дворе в Санкт-Петербурге, оказались самыми плодотворными в его жизни. Именно здесь он написал свои главные сочинения: «О Папе», «О Галликанской церкви», «Санкт-Петербургские вечера» и посмертно изданное «Рассмотрение философии Бэкона». Среди них и впервые переведенные на русский язык — «Опыт о всеобщем начале политических конституций и иных человеческих установлений» (1810) и «Эссе об отсрочке Божественного Правосудия в наказании виновных»

(1815). Если поводом написания первого из двух последних произведений послужила шестая глава деместровских «Рассуждений о Франции» (1796), называемая «О божественном влиянии в политических конституциях», то второе является весьма вольным переводом одноименного трактата древнегреческого историка и философа Плутарха. Отметим, что оба небольших по объему произведения вовсе не изобилуют присущим де Местру апологетическим и полемическим духом, а предстают скорее в качестве убедительного изложения мировоззрения французского философа. По сути второе сочинение проистекает из первого, подобно тому как Божественное Провидение воздействует не только на государственное устройство, но и на каждую человеческую личность в нем. Еще в «Рассуждениях о Франции» де Местр пришел к твердому убеждению о коллективной вине народов, их правительств и провиденциальной ответственности за нее пред самим Господом Богом. Эту же идею он проводит как в «Опыте о всеобщем начале политических конституций и иных человеческих постановлений», так и в «Эссе об отсрочке Божественного Правосудия в наказании виновных». У де Местра в метафизическом плане частная вина всякой личности сопряжена с общей виной государства, народа и наоборот. Ведь и сам народ в конечном счете является многоликой личностью и должен исповедоваться Божеству в собственном отступничестве и прегрешении, пусть даже посредством своих выдающихся сынов. И это здоровое библейское видение. Ибо по слову к Господу человека Божия Моисея: «Ты возложил на меня бремя народа сего.. Разве я носил во чреве весь народ сей, и разве я родил его, что Ты говоришь мне: неси его на руках твоих, как нянька носит ребенка... Я один не могу нести всего народа сего, потому что он тяжел для меня» (Числ. 11, 11-14). С другой стороны, Жозеф де Местр чрезвычайно, вплоть до растворения объекта в субъекте, склонен сливать личностное с общим, отсюда у него и гипертрофированное значение Папы Римского в управлении Вселенской Церковью, когда последний уже не просто первенствующий епископ, а олицетворение церкви во всей ее полноте (исходя из знаменитой аналогии, церковь — это папа, папа — это церковь): перенос субъекта на объект в целом свойственен традиционалистскому католическому мирозерцанию, в отличие от православного, где воплощением церковной полноты (плиромы) служит соборность — категория объективная. Естественно подобный подход де Местра стал новизной для русских аристократов, пробующих свои силы на философском и богословском поприще, и, как нам представляется, произвел революцию в интеллектуальной среде северной столицы. Россия уже уверенно вступала на путь самобытной национальной культуры, оставив позади эпигонное и имитационное XVIII столетие.

Вместе с тем, итогом деятельности де Местра петербургского периода была не только умственная встряска столичных салонов высшего общества. Жозеф де Местр одним из первых не только обнаружил углубля-

ющийся мировоззренческий раскол русского мира, но и предостерег от его трагических последствий: слишком свежи в памяти посланника Сардинского королевства были ужасы Французской революции. Провиденье порождает предвиденье, а опыт помогает этому предвиденью раскрыться. И здесь неоценимую роль играет литературно-философское наследие Древней Греции и Древнего Рима, к которому постоянно обращался савойский аристократ. Вот почему и в «Опыте о всеобщем начале политических конституций и иных человеческих установлений», и в «Эссе об отсрочке Божественного Правосудия в наказании виновных» красной нитью проходят императивные убеждения де Местра: нельзя сделать лучше то, что не от Бога; человек сам по себе не творит ничего, он способен лишь усовершенствовать данный свыше государственный уклад; Бог во Святой Троице не подвержен времени, а значит наказание виновного, поправшего божественные заповеди, постигнет в любом случае, либо ляжет тяжким бременем на весь его род; ни один человек на земле еще не смог избежать воздаяния божественной справедливости...

В завершении хотелось бы сказать: наряду с учениками Сен-Мартена и Мартинеса де Паскуалиса мартинистами называли и тех, кто пытался доказать истину христианского исповедания, основываясь на нехристианских мистических и культовых источниках. И в этом смысле Жозеф де Местр, гармонично сочетая идеалы католического натиска с исканиями мистического масонства, до конца своих дней оставался подлинным мартинистом, о чем выразительно свидетельствуют «Опыт о всеобщем начале политических конституций и иных человеческих установлений», «Эссе об отсрочке Божественного Правосудия в наказании виновных» и другие сочинения. Да и вся философия Жозефа де Местра, несмотря на определенные нелепые суждения о восточном христианстве и весьма близорукое, чреватое пагубными последствиями ультрамонтанство, сложилась в единый пылкий порыв к христианской божественной контрреволюции против отца лжи, князя мира сего и первого революционера Денницы. И можно быть уверенным: великий французский контрреволюционер Духа достойно упокоен на лоне Авраамовом.

Еще раз повторимся: о де Местре написано очень много, его творчество во Франции разобрано практически построчно. В России философским и мировоззренческим наследием савойского консерватора занимается молодой талантливый ученый из Перми Мария Дегтярева. Мы же в своей статье попытались изложить собственные суждения, которые, возможно, хоть на малую йоту расширят представления об этой титанической личности начала позапрошлого века, что актуально особенно сегодня, когда мир, как и два столетия назад, оказался на сломе формаций, культур и религиозных убеждений. Именно тогда — и это прекрасно прозрел в своем творчестве Жозеф де Местр — постепенно, еще под спудом зарождались два глобальных пострелигиозных уклада жизни: либерально-эмпорократиче-



ский (западный квази-протестантский) и иллюминатско-коммунистический (советский атеистический); и оба они были сиаемскими близнецами, креатурами духов злобы поднебесных. Канул в Лету мировой коммунизм. Сегодня пришел черед либо погибнуть, либо революционно преобразиться либерально-эмпорократическому строю. Что будет дальше, и изменилось ли в чем-то наше время от начала XIX столетия? Быть может, оно неподвижно и ему подвержен лишь «мыслящий тростник» — бранный человек, подобно природе стремящийся от рождения к тлению... Обратимся к Жозефу де Местру.

*Владимир Ткаченко-Гильдебрандт,  
Лазарева Суббота 2009 г., главный праздник  
Ордена мартинистов*

#### ИСТОЧНИКИ

Anthropos. Энциклопедия духовной науки. Опыт энциклопедического изложения духовной науки Рудольфа Штайнера. Составитель Г.А. Бондарев. В семи томах. М. 1999. Католицизм, иезуитизм, британизм. 562. Де Местр (Жозеф Мари, граф, 1754-1821).

Николай Бердяев. Статья «Жозеф де Местр и масонство». Путь, № 4. Июнь-июль. Париж. 1926. С. 183-187.

Дегтярева М. И. «Лучше быть якобинцем, чем фейяном»: Жозеф де Местр и Сергей Семенович Уваров. Вопросы философии. 2006. №7. С. 105–112.

Дегтярева М. И. Диссертация «Консервативная адаптация Жозефа де Местра». Пермь 1997.

Местр Ж. де. Рассуждения о Франции. Пер. с фр. Г. А. Абрамова, Т. В. Шмачкова. М.: РОССПЭН, 1997.

Парсамов В.С. Жозеф де Местр и Александр Стурдза. Из истории религиозных идей александровской эпохи. Саратов, 2004. Соловьев В. Местр Жозеф де. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, т. XX, СПб, 1897; переиздано в Собрании сочинений Владимира Соловьева, т. X, с. 429–435.

## ЭССЕ ОБ ОТСРОЧКЕ БОЖЕСТВЕННОГО ПРАВОСУДИЯ В НАКАЗАНИИ ВИНОВНЫХ

**графа Жозефа де Местра**

#### ПРЕДИСЛОВИЕ

Изначально я намеревался, исходя из трактата Плутарха «Об отсрочке божественного правосудия», составить труд более или менее подобный произведению знаменитого Мендельсона по мотивам диалога Платона «Федон», когда старое сочинение послужило бы мне определенным фоном, где идеи Плутарха проявлялись бы очень зависимым и опосредованным способом в сочетании с мыслями, коими нас с тех пор снабдила более сведущая метафизика по интересующей теме данного трактата.

Но внимательно перечитав трактат, я пришел к выводу, что не имею права обращаться с Плутархом с такой же вольностью, с какой еврейский философ обошелся с Платоном, создав весьма слабое и нуждающееся в тщательной правке сочинение. Даже цитируя самого «Федона», где ученик Сократа дает повод своему учителю для глубоких умозаключений, оно не произведет никакого эффекта на большинство читателей, ибо мысль фрагмента не была развита и положена в соответствие с современными идеями. Плутарх, наоборот, трактовал свой предмет с замечательной точностью и мудростью; его идеи не несут в себе однообразного цвета религиозного пристрастия или местности; они принадлежат всем временам и всем людям.

Никогда он не предается своему воображению, становясь поэтом, и даже если он нечто измышляет, то делает это не столько чтобы приукрасить, сколько чтобы усилить истину. Наконец я вовсе не вижу у древних философов того, что могло бы соперничать с этим произведением. Безусловно найдутся там и здесь, а особенно у Платона, восхитительные выражения, великолепные прозрения истины, но ни у кого, думаю, не сыскать столь последовательного, столь мудро обоснованного и столь совершенного в целом.

Плутарх жил во второе столетие *света Истины*, и вполне естественно полагать, что он был им во многом просвещен — это довольно расхожее мнение среди образованных людей. Я смутился и даже огорчился, когда его оспорил господин Виттенбах, снискавший большое уважение за свое превосходное издание Нравственных трудов Плутарха (\*) и оказавшийся полезным для меня тем, что опубликовал, между прочим, о прекрасном трактате «Об отсрочке божественного Правосудия» (\*\*).

«Феодорит, — пишет Виттенбах в своем вступительном слове, — *отнес этого философа (Плутарха) к числу тех, кто воспринял Евангельскую проповедь и перенес отдельные ее вещи в свои книги: это общее место, из которого Святые Отцы сделали столько шума, но подобное воззрение по отношению к Плутарху является ОПРЕДЕЛЕННО ложным*» (\*\*\*)

Мне представляется, что с позволения сего весьма искусственного человека, у нас хватит мужества высказаться о его суждении столь же резко: на самом деле его мнение являет собой лишь прием доказательства того, будто противоположное утверждение невозможно. Значит, *невозможно* не только оно, но и *невозможно* даже достоверно предположить, что *Плутарх мог обладать определенным познанием истин Христианства*, пусть все очевидности и говорят в пользу этой гипотезы. По существу никто не чувствует лучше наделенных талантом людей, которым неприемлемы эти очевидности; итак, чтобы их избежать, хотя бы внешне, они прибегают к ловкому приему, достойному нашего рассмотрения. Исподволь и неопределенно они задаются вопросом, якобы от имени своих соперников, вопросом, дающим прямой повод к возражению. Тогда они торжествуют, и неисчислимое племя невнимательных читателей добродушно мнит, что авторы развенчали других, тогда как в действительности развенчали лишь самих себя. Это удобная тактика, но она не в силах обвести вокруг пальца пронизательную критику.

Ведь здесь речь идет вовсе не о том, как в точности *Плутарх вопринял Евангельскую проповедь*, — я и сам не склонен утверждать, к примеру, что херонейский философ проповедовал, посещал пустыни и сокровенные пристанища, где в ту пору служились божественные таинства, — а о том, что он читал Евангелия Святого Матфея, Святого Марка, Святого Луки и Святого Иоанна, которые и мы читаем сегодня, и перенес из них целые фрагменты в свои сочинения (\*\*\*\*).

В более общей форме спросим: если проповедь *Благой Вести*, осветившая второе столетие нашей эры, сотворила многих прозелитов во всех частях известного тогда мира, то могло ли случиться, чтобы такой ученый и любознательный человек как Плутарх, обладавший уже совершенным ведением эллинистического иудаизма (\*\*\*\*\*), оставался целиком чужд этой проповеди, звучавшей от Тибра до Евфрата и на греческом языке поражавшей все воззрения, все притязания, все страсти Греков? Спра-

шивается, можно ли любому здравомыслящему человеку предположить, что Плутарх, посетивший Египет исключительно с образовательной целью, вернулся оттуда, даже не заглянув в знаменитую Александрийскую школу, в ту пору породившую Оригена; можно ли согласиться с тем, что человек, подготовленный и наставленный Иосифом, Филоном и, весьма вероятно, Библией, не поддался бы никакому порыву, чтобы узнать о новом учении — он, который старался осведомиться о мельчайших подробностях иудейских обрядов; и даже если этот великий моралист имел о новом вероучении определенные знания, то неужели он не оставил ни единого следа о них в своих произведениях? И хотя христианское вероучение в ту пору не могло отстаивать себя на законных основаниях, все равно фрагменты произведений греческого ученого, представляющие более или менее ощутимую аналогию с евангельской доктриной (даже те из материалов, приступая к которым, человеческий разум являет доказательство своей удивительной слабости), делают Плутарха выше по отношению к философам, писавшим прежде христианской проповеди.

Подобным образом заданный вопрос (а именно так он и должен ставиться) внешне мало что-то меняет. Но человек, который его рассмотрит с этой точки зрения, вовсе не обнаружит *достоверного* в том, что Плутарх *определенно* ничем не обязан евангельской проповеди; и он почувствует себя весьма склонным простить *общее место* этим несчастным Отцам Церкви, которые не обрели расположения понравиться рассудительному издателю (\*\*\*\*\*).

Но не взирая на вопрос, в который мы не станем впредь углубляться, ясно следующее: трактат Плутарха «Об отсрочке божественного Правосудия» — одно из самых превосходных произведений древности. Вдохновляемый надеждой быть полезным я попытался его тщательнее исследовать, для чего позволил себе определенную свободу, о которой сам Плутарх, надеюсь, не стал бы сожалеть. Я убрал мало значимую для трактата форму диалога, понапрасну меня стеснявшую, ибо не заметил, что эта форма, иногда весьма интересная, могла бы составлять здесь эстетическое или реальное достоинство. Даже если вступление к произведению и не исчезло, как о том думали все вплоть до господина Виттенбаха, бросившего на сей счет несколько обоснованных сомнений, Плутарх все равно начинает повествовать в некоей *обрывочной* манере, которая не сумела бы обрести нашего снисхождения, поскольку использовалась для его современников. Я постарался дать доступ в это прекрасное здание, войдя в содержание естественным способом и насколько возможно пребывая подле автора. Когда по ходу произведения мысль Плутарха мне казалась неполной, то я рассчитывал на возможность ее завершить, а иногда даже усилить новыми суждениями, чем обязан своим собственным раздумьям или чтению Платона, автора, которого я *люблю и охотно применяю*, как сказал Монтень совсем об ином писателе (\*\*\*\*\*). Если мне на пути

попадались мысли, пребывающие, как говорится, лишь *в потенции*, я их тщательно развивал. Они — бутоны, которые я делаю раскрытыми; я не добавляю к ним ни одного лепестка, но я их показываю со всех сторон. Я искренне чту переводчиков, предшествовавших мне. Особенно Амю оказал услуги французской словесности, и *его архаический стиль по-прежнему хранит нестареющее изящество*. Но стоит признаться, что *его изрядно затянувшаяся юность* любима только писателями, великолепно освоившими родной язык. Вне этого круга подобный перевод лучше ценить, чем читать. Его орфография сбивает с толку зрение, слух не выдерживает его стихотворной формы; особенно дамы и иностранцы его воспринимают с трудом. Впрочем, по мере того, как углубляешься в древность, находишь больше таинственного в языках. Даже не воспаряя столь высоко, один греческий доказывает всю непреложность данного наблюдения. Сей язык полон необыкновенных эллипсов и идиоматических выражений, которые порой сложно ухватить. В философских материях фраза воспринимается зачастую с большой неопределенностью и отступает только перед упорным исследованием и сравнением различных фрагментов, объясняющих друг друга: впрочем, каждый народ обладает своим философским языком, который вовсе нелегко перевести на иной язык. Всякий, кто читал Аристотеля или Платона по-латыни в самой лучшей литературной версии, на самом деле не читал этих философов (\*\*\*\*\*). Часто перевод представляет собой для читателя те же самые трудности, что и подлинник. Даже тот, кто ловко ухватил смысл оригинала, еще долгое время ищет в своем языке выражения и обороты, которые по его усмотрению хорошо передают смысл им понятого, и когда он их нашел — это открытие для него самого. Вот мне и представилось, что было вполне возможно неким усилием сосредоточенности и изучения сделать намного понятнее, то есть ощутимее Плутарха, и поскольку стало принципиальным не подвергаться тому же заблуждению, смешивая свои мысли с мыслями греческого философа — так и возник метод, который я себе предписал. Поначалу я в точности следовал порядку глав, как их сообщает перевод Амю: таким образом, сравнение никогда не будет представлять собой никакой трудности. Избавляя читателя, желающего знать то, что достойно каждого, от труда постоянной сверки, я постарался поместить между двумя звездочками (\* — \*) все не относящееся к Плутарху; и когда мне представлялся (всегда искомый) случай вносить в эти чужеродные фрагменты изречения нашего автора, я их записывал курсивом, дабы любой читатель, принимая во внимание каждую строчку, мог быть уверенным в том, что я никак не пытался утаить от него ничего принадлежащего Плутарху. За исключением двух или трех очень коротких и не играющих роли глав, сама суть которых была полностью сохранена, и нескольких фрагментов, совершенно чуждых нашим идеям, я не позволил себе больше покуситься ни на одну строчку Плутарха. Наконец я сопроводил свое произведение

некоторыми примечаниями, думая, что они полезны в разных отношениях, дав их в своем большинстве по завершении самого сочинения, чтобы они не слишком отягощали страницы его текста. Сумел ли оригинальный труд Плутарха обрести хоть что-то от формы и дополнений, полученных от меня. Я надеюсь, или скорее желаю того, ведь доверяю только своим намерениям, а в данном случае лучшие из них могут зачастую оказаться ошибочными в глазах публики, к которой, впрочем, не думаю, что стоило бы апеллировать.

---

(\* ) Охон. 1795, in-4 et in-8. Думаю, можно льстить себя тем, что во время, которое я пишу, «Сравнительные жизнеописания» уже изданы.

(\*\*) Lugd. Batav. 1772, in-8.

(\*\*\*) *Plutarchum in iis memorat* (Theodoretus) qui *sacrum Evangelium audivissent, ex eoque multa in libros suos translulissent*: locus communis a *Patribus jactatus, in Plutarcho CERTE falsus*. (Wittem, Praef. in Opp. Mor. Plut. cit. edit. tom. I, in-8, cap. III, p. LV).

(\*\*\*\*) Однако я не вижу почему христианские книги не могли быть изучены и прочитаны этим философом, подобно тому, как книги *Бёме, Сен-Мартена, Дютюа, Эскартсгаузена* и пр., в наши дни прочитаны даже теми, кто над ними смеется. Повторю еще раз: тогда в этом *точно* не было проблемы.

(\*\*\*\*\*) Смотрите его трактат «О суеверии».

(\*\*\*\*\* ) В отношении Евсевия он сказал: «Это единственный принадлежавший к Церкви автор, что показал пример прекрасной литературы в «Евангельском приготовлении», благодаря той мудрости, с которой он нам донес в этой книге мысли иных людей, но не собственные»: *«Eusebius in Proep. evang. unus omnium Ecclesiasticorum de bonis litteris meruit, quod aliena quam sua prodere maluit»* (Proep. p. LVI). Приговор строг, справедлив и обжалованию не подлежит: единственный церковный писатель, имеющий право на наше почтение это арианин Евсевий и то только со своей одной книгой. И почему? *Да потому что ему в своей книге хватило ума скопировать профанических авторов вместо того, чтобы посметь говорить от своего имени*, подобно Иоанну Златоусту, Василию Великому, Блаженному Августину и пр. И все это вполне уместно с Плутархом и его «Нравственными произведениями». Маркиз Мирабо сказал по отношению к Франции в середине прошлого столетия в своем «*Друге Человечества*» следующее: «*Нет сегодня букета Ириса или диссертации о термальных источниках, куда автор бы не хотел вставить свое маленькое кредо, достойное вольнодумства*». Сегодня эта лихорадка прокатилась по другим странам даже с удвоенной силой. Ученый, комментирующий Анакреона или Катуллу, найдет *естествен-*

ную возможность раскритиковать Моисея. Но ведь этим не помочь нашей слабой человеческой логике: очевидно надо ждать, уповая на иные времена, иные средства.

\*\*\*\*\* О Сенеке.

\*\*\*\*\* *Nemo fidem habeat Ficino et Serrano Platonis interpretibus, nemo Bessarioni, Pacio et aliis Aristotelem latina veste induerunt, credat. Errarunt hi egregii viri, magnisque hominibus illis aut sententias attribuerunt a quibus alieni fuere; aut verbis nimis obsequentes scila eorum caligine nescio qua obduxerunt et deformarunt* (Laug. Moshemius, in Praefat. ad Rad. Gudworthi Systema intellectuale universum; Jenae, anno 1733, 2 vol. in-f, tom. I, pages 4, 5). Жозеф де Местр приводит здесь латинский отрывок из Предисловия Лаурентиуса Мосхемиуса к трактату Гудворта «Об интеллектуальной системе вселенной» (прим. пер.). Перевод этого фрагмента следующий: «Нельзя доверять ни переложениям Платона в исполнении Фичино и Серрано, ни пространным переводам Аристотеля, сделанным Виссарионом и Пациусом. Заблуждаясь, сии энергичные мужи приписывали великим людям либо изречения с иным смыслом, либо, не ведая о значении слов, они при переводе его изменяли и искажали».

## ЭССЕ ОБ ОТСРОЧКЕ БОЖЕСТВЕННОГО ПРАВОСУДИЯ

**I.** \* Это прием, весьма присущий эпикурейской секте — избегать регулярных диспутов с защитниками Провидения. Всегда готовые возразить философы сей школы не любят дожидаться ответа: они бьются ожесточенно как парфяне. Впрочем, им не хватает спокойствия и основательности, которые являются уделом и признаком истины. В их рассуждениях присутствует нечто раздражительное и холерическое, которое не покидает их никогда. Резонируя, вместо того, чтобы размышлять, они оскорбляют, и всегда склонны обвинять Провидение, вплоть до его отрицания. *Kто попытается им ответить повторит пример Брасида (Brasidas), который, будучи ранен дротиком в грудь, вырвал его из раны, нанеся им самим столь сокрушительный удар по тому, кто его метнул, что последний замертво распростерся на месте.* Но подобные репрессивные средства нам никак не к лицу. *Когда нечестие направило на нас стрелу в виде определенного навязчивого рассуждения* (смотрите примечание I), *достаточно удалить его немедленно из нашего сердца, чтобы оно не пустило в нем корень.* Впрочем, мы не имеем никакого интереса нападать, защищаясь, ведь, сказать по правде, сия чисто негативная философия порождает только шум: она со всех сторон смутно собирает возражения, но никогда не в силах установить ни основополагающую часть учения, ни даже следствия высказанных умозаключений, поскольку порядок, целокупность и особенно утверждение принадлежат лишь истине. Заблуждение, наоборот, всегда отрицает — это ярчайшая черта его характера. С того момента как оно прекращает отрицать, оно смеется или оскорбляет. Для него Провидение есть враг, коего оно ненавидит и от которого ему хотелось бы избавиться. Взгляните на то, что представляется правдоподобным в его возражениях, чтобы все это стереть, как я уже говорил, до мельчайших впечатлений, которые оно может посеять в наших сердцах.\*

**II.** Промедление, которое несет божественное правосудие в наказании злодеев, кажется для определенных лиц одним из сильных возражений, какие можно выдвинуть против Провидения. Они не прощают писателям, сделавшим из этой неспешности одно из свойств Божества. Они говорят: «Нет ничего столь непристойного, как представлять себе Бога в виде ленивого в чем бы то ни было существа, а особенно в наказании злоумышленников, ибо последние никак не являются ленивыми, когда дело касается вреда, и страсть, которая ими овладевает, наоборот, ведет их к неожиданным поступкам. Значит, как очень удачно заметил Фукидид (1), наказание, последовавшее сразу после преступления, является самым эффективным средством, чтобы остановить тех, кто слишком склонен

творить зло. Кара за преступления есть долг правосудия по отношению к оскорбленному, и из всех долгов он тот, который важно оплатить вовремя, ведь промедление в данном случае несет в себе двойную неуместность, приводя в уныние оскорбленного и безмерно распаяя гордыню обидчика: быстрота наказания — это одновременно и ужас для виновных, и лучшее утешение пострадавшим от них. Приводят следующее рассуждение Биаса, обращенное к одному из злоумышленников: «Я не боюсь, что ты избежишь расплаты; я боюсь только жить слишком долго, будучи свидетелем этого». Но чем больше размышляешь над этим рассуждением, тем меньше его смысл тебя удовлетворяет, ибо что значит правосудие, не исполненное вовремя? Мессенцам у места, называемого Великий Ров, нанесли поражение Лакедемоняне, которые подкупили Аристократа. Последний был царем Аркадии на протяжении двадцати лет. Под конец он был изблещен в своем преступлении и наказан, но это воздаяние уже ничего не значило для Мессенцев, которым он изменил и которых больше не существовало. И Орхоменяне, потерявшие своих детей, родителей и друзей благодаря предательству Ликиска (Lycisque) (2), какое утешение нашли они в болезни, настигшей виновного много лет спустя и пожравшей его тело в такой степени, что он сам, погружая и погружая ноги в воду, бранился постыдными проклятиями, наблюдая как они обращаются в гной из-за совершенного им некогда злодеяния? И Килонийцы, перебитые в Афинах на святом месте; негодяев, виновных в этом святотатстве изгнали во время Республики, и даже останки их были изъяты и выброшены за пределы государства, но когда свершилось возмездие, второго поколения Килонийцев больше не существовало (3). Итак, нет ничего более неуместного, чем подобные виды рассуждений, весьма свойственные поэтам: «Ведь божественное правосудие не всегда готово пронзать сердца виновных; ведь оно молчаливо и медлительно, хоть под конец и происходит». Подобное соображение в точности совпадает с тем, которым пользуются злоумышленники, чтобы побудить себя к преступлению. Согласитесь, что нет ничего более соблазнительного, чем видеть всегда спелый и готовый к сбору плод беззакония, когда воздаяние, должное следовать за ним, видно лишь в отдаленной перспективе и спустя долгое время после наслаждения, доставленного преступлением?

**III.** «Более того, фатальный результат этой отсрочки состоит в том, что когда правосудие, наконец, торжествует, в нем уже не хотят видеть десницу Провидения. Таким образом, зло, внезапно обращающееся на преступников, не в момент, когда они сделались виновными, а гораздо позже, они называют *фортуной* или *несчастьем*, но совсем не *карой*, откуда выходит, что преступники не извлекают из наказания никакой пользы для своего исправления. Вот почему они прекрасно чувствуют остроту боли, но эта боль не вызывает никакого раскаяния в них. Лошадь наказывают сразу после ее ошибки, и если это наказание запаздывает, то в криках, толчках и при-

шпориваниях она никак не почувствует повод почему на нее сердятся и не поймет ровным счетом ничего (4). Это обычная картина злоумышленника по отношению к Богу. Если божественная десница делается ощутимой для него и его поражает в миг, когда он становится виновным, то нужно, чтобы, обратившись на него самого, она заставила бы его смириться и трепетать под властью Бога, отмщение которого никогда не заставит себя ждать. А что касается медлительной и двусмысленной справедливости, коей нас убаюкивают поэты, то она подобна случайности намного больше, нежели решительному акту божественного правосудия, ибо совсем не видно, как говорит наша пословица, зачем служит *этот мельничный жернов богов, который мелет столь медленно*. Сдается, что сия неспешность способна воздать только сомнительным правосудием, избавив злодеев от страха».

**IV.** Можно развить ставить подобные проблемы и дальше, но основные я уже сообщил, и хорошо бы, если это возможно, их поначалу разрешить, прежде чем ввязываться в новый диспут. Все же я думаю поначалу заверить, дабы не отступать от темы нашей дискуссии, в трезвой осторожности, которую проявляет всегда Академия, когда дело касается Божества: этим я избавлю себя говорить о вещах, как если обладал их совершенным ведением (примечание II). Будет весьма неуместно говорить о музыке, не имея представления о ней, или о войне, в ней не участвовав, как и нам, людям, не пристало пытаться решать то, что касается богов и духов, и желать разгадать замыслы художника, не имея никакого понятия о его искусстве, основываясь исключительно на мнениях и предположениях. И будет дерзко для человека, не обладающего никакими познаниями в медицине, спрашивать почему врач не назначил раньше ампутацию и почему прописал водные процедуры вчера, а не сегодня. Здравым рассудком должно полагать, сколь неверно и нелегко для смертных существ утверждать обратное о божественных решениях, а кроме того в точности знать наиболее подходящие сроки для исполнения кары над преступниками, и как просвещенный лекарь распределяет целебные снадобья, которые он варьирует, в зависимости от обстоятельств, доз и эпох. Ведь медицина души, называемая *судом* и *справедливостью*, в действительности была наивысшей из наук, о чем, наряду с тысячами других, свидетельствует Пиндар, когда дает Сущности, началу и владыке всего сущего имя *Аристотехнума* (*Aristotechnite*), то есть превосходного мастера, кому надлежит, как творцу самого правосудия, решать когда, как и где именно должен быть наказан виновный; и когда Платон говорит, что Минос, сын Юпитера, был учеником своего отца в этой науке, то нам становится понятным: невозможно ни хорошо использовать исправительное правосудие, ни даже хорошо осудить тех, над кем оно совершается, прежде не изучив и не познав этой науки.

**V.** Законы, созданные людьми, \* которые, таким образом, соотносятся со способом нашего видения вещей, \* не кажутся, тем не менее, всегда разумными с первого взгляда: в них весьма часто встречаются положения,

дающие повод насмешкам. В Спарте, например, эфоры, заступающие на свой пост, приказывали, возглашая всенародно, *чтобы никто не отпущал себе усы и чтобы каждый повиновался законам, в противном случае, нарушители будут строго наказаны*. В Риме, когда хотят приучить раба к свободе кладут маленький прут на плечи (примечание III); и когда Римляне составляют свое завещание, они делают одного человека своим наследником, а потом продают свое имущество другому, что представляется и вовсе необычным (примечание IV). Но ничто не сравнится в этом роде с законом Солона, объявляющим бесчестие тому, кто во время мятежа не присоединился ни к одной из групп заговорщиков. Наконец можно увидеть в гражданских законах ряд положений, которые покажутся абсурдными, если не узнаешь замысел их создавшего законодателя, или дух самого закона. Итак, если человеческие вещи являют собой столько затруднений, то стоит ли удивляться, что мы, когда речь заходит о богах, вовсе не в состоянии понять, почему они наказывают одних преступников раньше, а других позже? Сказанное здесь вовсе не во избежание прений, коих я никак не страшусь; я только стремлюсь сей решительной отповедью заслужить снисхождение во всем том, что я приведу на заданную тему; я хочу, дабы разум, если можно так выразиться, видя перед собой верное пристанище, сделался бы более отважным в противостоянии возращениям и легко наставлял своих слушателей на путь истинный.

**VI.** Вначале отметим, что, исходя из учения Платона, Бог, поставленный, если можно так выразиться, в средоточие всех вещей, чтобы служить образцом всему сущему во благе, открылся в добродетели существам, которых он сотворил способными ему повиноваться, благодаря чему мы оказались в состоянии, несколько схожем с его состоянием, ибо вселенная в своем истоке была лишь хаосом, и она стала *мирозданием, то есть гармонией и красотой* (примечание V), когда однажды Бог соединился с ней определенным образом, и этот мир превратился в уменьшенное отражение божественной мудрости и добродетелей. Тот же самый Платон добавляет, что естество *зажгло* (5) наше зрение, дабы наши души, созерцая движущиеся в небе тела, познали бы в восхищении, преклонении и благоговении гармонию и красоту, питая отвращение ко всему тому, что им противостоит, избегая всякой необузданной страсти, особенно легкомыслия, которое действует наобум, будучи источником всех видов преступлений и заблуждений, ведь человек не может использовать Бога иным отменным способом, как проявляя себя, насколько сие возможно, подобающим ему в подражании божественным совершенствам.

**VII.** Вот почему Бог никак не спешит с наказанием виновных. Он вовсе не боится ошибиться, действуя слишком быстро, или поразив ударами, за которые он потом будет раскаиваться, но \*, являясь образцом для нас, как я уже сказал, \* он хочет научить нас своим собственным примером сдерживать себя, когда мы должны наказывать проступки себе подобных,

от любой жестокости и брутальной горячности, которые недостойны человека. Он нас учит не обрушиваться на того, кто нас оскорбил, даже во время гнева, когда страсть абсолютно затмевает разум, как если бы дело касалось утоления голода или чрезмерной жажды. Он, наоборот, желает, чтобы когда мы подняли карающую руку, то действовали бы спокойно и размеренно, подражая его благодати и милосердному промедлению, взяв себе в советники время, которое редко вызывает раскаяние, если внимать его суждениям. Сократ сказал, что *«намного меньше опасности для человека, страдающего от жажды и не имеющего самообладания, напиться в первом попавшемся ему мутном потоке, чем для того, кто охваченный гневом вымещает свою кару на себе подобном: такого страсть лишает разума прежде, нежели его дух мог бы быть просвещен рассудительностью»*.

**VIII.** Ибо нет очевидности в том, что *возмездие наиболее уместно*, как сказал Фукидид, *сразу после совершения проступка*; наоборот, оно предпочтительнее в отдаленной перспективе, поскольку гнев, по словам Меланфа (Melanthe), *производит нелепые несчастья, когда он затмевает рассудок*; хотя разум, изгнавший гнев, порождает только мудрое и взвешенное. Отмечено, что некоторые характеры могут смягчиться и утихомириться благодаря одному из примеров человеческих добродетелей: Платон долгое время хранил у себя палку, предназначенную для битья невольников, и это он делал, чтобы укротить свой гнев; Архит, не слишком взволнованный от неизвестного мне замешательства, случившегося в его деревне по нерадению его же людей, был рад сказать им отстраненно: *«Вы счастливы, когда я бываю во гневе»*.

**IX.** Итак, если поистине (а в этом нельзя усомниться) мудрые рассуждения древних и их прекрасные поступки, донесенные нам историей, сильно способствуют обузданию пылкости и неустойчивости гнева, тогда мы приходим к выводу, что даже Бог, ничего не страшщийся и ни о чем не кающийся, откладывает, тем не менее, свои воздаяния, предоставляя их удаленному грядущему, в коем и мы станем более разумными и сдержанными. Мы поймем, что могли сильнее принадлежать Богу только в милосердии и терпеливости; мы услышим его, и тогда он сам нам укажет, что стремительная кара мало исправляет виновных, но когда она отсрочена, то исцеляет одних и предупреждает других.

**X.** Человеческое правосудие не знает как карать: его власть не простирается столь далеко. Люди идут по следам виновных и их неустанно преследуют, *облаивая* (6), так сказать, тех, кого удастся схватить, чтобы воздать им злом за зло. Но тут они останавливаются, не в силах двинуться дальше. Иными словами, они полагаются на Бога, имея основание думать о том, что когда он решился бы исцелить отягощенную пороками душу, он, во-первых, изучил бы осквернившие ее страсти, чтобы увидеть имеется ли какое-нибудь средство склонить ее к раскаянию, предоставив отсрочки

всем виновным, злой умысел которых не совсем подтвержден и не лишен совсем доброго влияния. Ведь Богу известен каков предел совершенства человеческой души, изшедшей от него, когда на получила жизнь, и каково ее врожденное и невыразимое превосходство; он знает, что эта душа по своей природе чужда ко злу, и все грехи, которые пытаются в ней *процвести* (7), являются лишь плодом воспитания или общения с развращенными людьми, а посему душа легко возвращается в свое первоначальное состояние, если с ней обойтись по правилам (8). Бог никак не стремится применить ко всем одинаковую кару, но он тотчас уничтожает и лишает жизни всякого, кого находит абсолютно неизлечимым, ибо любое существо, заключившее союз со злом, сможет впредь существовать, только вредя другим и еще больше себе самому (9). Что же касается тех, кто подвержен пороку не по выбору своей воли, а по неведению блага, он им дает необходимую отсрочку для исправления; и если они упорствуют во зле, тогда он их поочередно наказывает, и задержка не играет никакой роли, ведь Бог не боится того, что его избежит виновный.

**XI.** Рассмотрим, впрочем, какие чудесные изменения происходят с нравами и привычками людей. Говорят, что царь Кекроп, некогда названный *двоедушным* или *двуличным*, чтобы подданные узнали о добром и милосердном правителе, сделался ужасным и безжалостным тираном. Сам я придерживаюсь иного воззрения на сей счет, и если меня одолевают сомнения по этому поводу, я их никак не распространяю на личности Гелона и Гиерона на Сицилии, Писистрата в Афинах, которые, достигнув власти наиболее преступными средствами, затем ей воспользовались во благо, дав великолепные законы своим народам, привив им вкус к земледелию, отвратив их от низменных удовольствий, сделал их мудрыми и предприимчивыми гражданами. И когда побежденные в великой битве Карфагеняне попросили у Гелона мира, он им в нем отказал с той лишь целью, чтобы они не стали по договору приносить своих детей в жертву Сатурну (примечание VI); и Лидиад, захвативший власть в свободном городе Мегалополесе, раскаялся затем в своем вероломстве и, обладая полнотой царского господства, даровал законы своим согражданам (примечание VII): умер он покрытый славой, сражаясь с врагами своего отечества. Другие великие люди являют собой примеры такого же порядка. Но если бы умер Мильтиад, бывший тираном в Херсонесе; если бы кто-нибудь привлек Кимона к правосудию, когда он принародно сожительствовал со своей собственной сестрой, обвинив его в кровосмешении (примечание VIII); или если подобным же образом обошлись бы с самим Фемистоклом за его неслыханное распутство (примечание IX), изгнав последнего из Республики, как Афиняне поступили затем с Алкивиадом из-за бесчинств его юности, то мы потеряли бы вместе с ними Марафонскую битву, сражение при Эвримедоне, а одинаково и знаменитую схватку на берегу Артемизиума, на котором, как сказал Пиндар:

*Десница бессмертной Афины,  
Отринувши Перса оковы,  
Создала святую свободу* (10).

**XII.** Великие люди никогда не сумеют произвести ничего посредственного; и поскольку содержащаяся в них энергия не может пребывать в праздности, они постоянно в порыве, как корабли, одолеваемые волнами и бурей, до тех пор, пока, наконец, не обретут установившихся навыков. Как неопытный в земледелии человек презирает землю, которую он видит заросшей кустарниками, покрытой дикой растительностью, струящимися ручьями, топами и пресмыкающимися, так специалист усмотрит в подобных и иных признаках доказательства превосходства земли: это сродни тому, как великие люди в самом начале являются подверженными, *одолеваемыми* (11) дурными и необузданными устремлениями; и мы, которые не в силах выдержать эти колкие и обжигающие плоды, воображаем, будто нет ничего более неотложного, как уничтожить железом эту растительность, но тот, кто ведает о них больше нас, различая в их душах доброе и благородное, ждет подходящего момента разума и добродетели, когда эти могучие характеры произведут достойные себя плоды.

**XIII.** Но довольно об этом. Стоит только отметить: с подобным основанием некоторые греческие народности относились к взятому из Египта закону, гласившему о том, *что если беременная женщина приговорена к смерти, наказание последней откладывалось до рождения ею ребенка* (12). Теперь, вместо зачавшей естественным порядком женщины, представим виновного, который *несет* в глубине своей души добродетель: прекрасную мысль, спасительный совет, полезное изобретение. И в данном случае, не предпочесть ли голос милосердия, повинующий оставить зреть и порождать эти плоды разума, голосу поспешного правосудия, которое не даст им развиваться? Весьма точное сравнение, хотя и кажется обманчивым, но оно во благо истины, ибо ребенок, коего осужденная мать должна родить в мир, не может сам по себе спасти свою мать, поскольку ее участь решена, равным образом и добродетель, которую Бог зрит в грядущем станет для виновного заслугой, способной смягчить наказание, и, возможно, даже его предупредить. Но в состоянии ли верховное благо отменить данную заслугу, предварив ее неожиданным наказанием?

**XIV.** Если бы Тиран Дионисий был наказан сразу во время узурпации, в коей сделался повинным, то не нашлось бы ни одного грека по всей Сицилии, так как Карфагеняне, овладев сей страной, изгнали бы оттуда всех эллинов. Подобное произошло бы с городами Аполлонией и Анакториумом и почти по всему острову Левкадии (13), если бы Периандр не был бы наказан спустя долгое время после того, как он захватил власть над этими странами; и сам я не сомневаюсь, что кара Кассандры не исполнилась бы

до тех пор, пока благодаря этому убийце город Фивы не отстроился и не наполнился бы вновь (14).

**XV.** Некоторые из чужестранцев, во время священной войны ограбивших Дельфийский храм, отправились на Сицилию и, разгромив Карфагеня и несколько тиранических государств, скверно погибли, чего и заслужили, ведь злоумышленники иногда становятся в Божьей деснице наподобие палачей, которые используются для наказания других, еще более виновных людей; затем Бог уничтожает и палачей, и это, на мой взгляд, относится к большинству тиранов. Ибо когда народы становятся преступными до такой степени, что неотвратимо наводят на себя всеобщие бедствия, тогда Бог выносит решение призвать их к порядку через наказание, смирение, истребление, крушение престолов и передачу властных скипетров. Чтобы выплотить эти ужасные возмездия, он использует великих грешников, тиранов, узурпаторов, свирепых завоевателей, которые потешаются над всеми законами: ничего им не противостоит, поскольку они — исполнители божественного суда; но пока человеческое невежество восхищается их успехами, они неожиданно исчезают как исполнители, когда суд уже завершен. Но поскольку некоторые ядовитые змеи заключают в себе определенные составы или вещества, полезные для исцеления болезней, одинаковым образом и Бог, видя, как некие народы нуждаются в наказании и *укусе* (15), посылает на них безжалостного тирана, или жестких и строгих правителей; и народы освобождаются от этой напасти лишь тогда, когда становятся совершенно очищенными и выздоровевшими от всего того, что в них было больного и развращенного. Значит, подобно двум снадобьям этого рода (16), были даны Фаларис Агригентянам, а Марий Римлянам. Также известен ответ, данный Оракулом Сикионянам (Sicyoniens) в отношении юноши по имени Телетий, увенчанного на Пифийских играх: поскольку он являлся Сикионянином, его соотечественники хотели отнять силу у Клеонян, намеревавшихся ее удержать. В этом поединке обеих не уступавших друг другу сторон юноша был разрублен на части, из-за чего Бог выразительно объявил Сикионянам, что они всегда нуждались в правителях с плетью; и, в действительности, Сикионяне оказались последовательно во власти трех тиранов — Орфогора, Мирона и Клисфена, которые сумели их удержать в порядке, тогда как Клеоняне, не испытывавшие одинакового лекарства, оказались в упадке и затем полностью исчезли.

**XVI.** Гомер говорит в одном из своих фрагментов об этом герое, сыне Копрея и *славном отпрыске несчастного отца* (17). На самом же деле он прославлен не столько громкими деяниями, сколько в потомстве Сизифа, Автолика и Флегия, блиставших славой и добродетелью среди царей. В Афинах родился Перикл в проклятой и преданной семье. В Риме Помпей, называемый *Великим*, был сыном того самого Страбона, которому римский народ причинил столько зла, что когда после смерти несли его тело к погребальному костру, его подняли со смертного ложа, бросили

и попрали ногами. Зачем возмущаться тому, что садовник не срезает терновник, прежде не сорвав спаржу (18), или что жители Ливии никогда не жгут ветви ладанника, прежде не собрав находящейся в них ароматической смолы? Бог тоже никак не желает искоренять некоторые благородные и царские семьи (пусть даже скверные и несчастные), прежде нежели они не произвели на свет несколько достойных их отпрысков. И было бы гораздо лучше для Фокеян, чтобы десять тысяч волов и равное количество лошадей Ифитуса (19) оказались бы истребленными, или чтобы Дельфы потеряли бы намного больше золота и серебра, чем никогда бы не появились на свет такие герои, как Улисс, Эскулап (20) и многие другие, рожденные от злых и порочных родителей, но ставшие, тем не менее, прекрасными людьми, весьма полезными для себе подобных.

**XVII.** Но есть ли основания полагать, что своевременно совершенное правосудие является лучше, нежели правосудие, исполненное тотчас? Каллипп из Афин, притворившись другом Диона, убил его ударом кинжала, затем он сам был убит тем же кинжалом рукой Мития Аргосского, одного из собственных друзей, убитого во время мятежа, когда народ собрался на площади посмотреть соревнования, и упавшая сама по себе бронзовая статуя уничтожила убийцу. Истории Бесса Пеонийского и Аристоня Этейского (оба — предводители иностранных наемников) известны никак не менее. Последний при содействии тиранов, которые его поддерживали, похитил в Дельфах золото и алмазы у царицы Эрифилы, долгое время хранимые в храме этого города, и подарил их своей жене; но сын Аристоня, поссорившись со своей матерью, поджег родительский дом, уничтожив его со всем, что в нем находилось (примечание X). Убивший своего отца Бесс, о преступлении которого долго никто и не подозревал, однажды явившись на трапезу к своим друзьям, вознамерился разорить ласточкино гнездо, пронзив его своим копьем и убив птенцов. Один из свидетелей злодеяния воскликнул, выражая вполне естественную реакцию: «*Зачем, мой дорогой, вы позволяете себе столь неразумную вещь (21)?*» «*Ах! Не слышите ли вы, — ответил Бесс, — что эти птицы не прекращают кричать, обвиняя меня в убийстве моего отца?*» Об ошеломляющем признании вскоре узнал царь, приказавший предпринять соответствующие расследования. Виновный был обвинен и наказан как отцеубийца. \*Эти различные воздаяния наиболее действенны и, значит, наиболее полезны, чем те, что последовали бы сразу за преступлениями. \*

**XVIII.** Впрочем, данный дискурс принимает в качестве согласованного положения *отсрочку в наказании виновных*; и не лучше ли, чем следовать Платону, призывающему *кару сразу за преступлением*, прислушаться к Гесиоду, когда он нам говорит: «*Преступление прежде всего губительно для совершившего его*». И в другом месте: «*Кто ищет погибели другого, рискует погибнуть сам*» (примечание XI). Говорят, что шпанская муха несет в себе противоядие тому яду, который сама же сообщает. Действием,



полностью противоположным преступлению с лживым и обольщающим нас удовольствием, обрушиваются в душу мучения и угрызения совсем не в отдаленном будущем, но в сам момент, когда человек становится виновным. Подобно тому, как преступник, идущий на казнь, осужден нести крест, на котором он должен испустить дух (22), так и злоумышленник, предавшись своей совести, несет в ней заслуженную для себя кару: преступление, которым он обесчестил всю свою жизнь, является ему еще и чудовищно изобретательным палачом, переполняющим его жизнь тревогами, беспокойством, мучительными угрызениями и бесконечным страхом.

**XIX.** Судя по всему некоторые люди, приносящие удачу негодяям, не кажутся злыми детям, впервые пришедшим посмотреть на сцене несчастливцев, облеченных в самые благородные роли. Эти театральные владыки с коронованным челом, разодетые в пурпур и парчу, становятся почитаемыми у детей, мнящих в них великих героев, восторгаясь их счастьем до тех пор, пока внезапно не увидят их избитыми бичами, пронзенными ударами, или даже сожженными заживо со своими царскими украшениями (примечание XII). Так, например, когда наблюдаем высокородных злоумышленников, окруженных прислугой, отмеченных знатностью происхождения и большими должностями, нельзя определенно думать, будто они не были наказаны, пока их не увидели пронзенными кинжалом или поверженными, что, однако, меньшее наказание, чем конец и восполнение наказания (примечание XIII). Но что же тогда представляют собой эта мнимая *задержка*, из-за которой столько шума? Во-первых, по нашему неведению, мы называем данным именем время, *используемое божественным Правосудием для поднятия человека, когто оно желает покарать*; но если мы хотим выразиться строже, то скажем: нет никакой задержки, ибо это — божественный закон, который всегда начинает карать одновременно с преступлением. Искусная древность сказала, что кара является *хромой*: она, несомненно, не настигает сразу виновного, но никогда она не прекращает его преследовать, и шорох ее шагов, который мы называем *угрызениями*, неустанно будоражит виновного, и когда кара его все-таки настигает — это знаменует только завершение наказания. \* Геродик Селибрейский (древний врач, являвшийся учителем Гиппократ — прим. Жозефа де Местра) нашел, чередуя гимнастику со внутренними снадобьями, паллиатив (дающий временное облегчение — прим. пер.), сначала применявшийся им на себе, против туберкулеза, болезни, которая до него сопротивлялась всем лекарствам, о чем Платон сказал, *что этот врач и для себя и для других изобрел искусство продлевать смерть*. Это удачное изречение применимо и к наказанию злоумышленников: кара кажется медленной, ибо она длительная, и с ней виновные состариваются, говорят даже, что она настигает их только в старости.

**XX.** Добавим еще, что слово *длительное* имеет смысл лишь по отношению к нам, ибо самая продолжительная человеческая жизнь для Бога —

одно мгновение. Если злоумышленник был божественно наказан в сам момент совершения преступления, или если он получил воздаяние за него тринадцать лет спустя, означает то же, как если бы человеческое правосудие, вместо того, чтобы повесить или казнить преступника утром, повело его на казнь пополудни. В ожидании наказания жизнь для виновного превращается в настоящее узилище, не оставляющее ему никакой надежды на побег. Если даже в этом положении он устраивает великие празднества, расточая милость и щедрость, если он участвует в важных предприятиях, он все равно остается походить на узника, забавляющегося и играющего превратностями, пока веревка, которая должна его задушить, не затянется на его шее. Если сие сравнение не кажется очевидным, то что может помешать нам подкрепить его другим, говоря об одном конченном и приговоренном к смерти преступнике, *избежавшем правосудия* только потому, что ему еще не отрубили голову? И почему никогда подобного не говорили о том, кто, испив яд цикуты, прохаживался по темнице, ожидая тяжести в ногах, угасания чувства и холода смерти? Когда мы хотим представить число страданий, печалей и угрызений, раздирающих сознание злоумышленника, то приходит на ум сравнение виновного с рыбой, попавшейся на крючок и не использованной до тех пор, пока она не будет разделана и изжарена в нашей кухне. Преступление для нас подлинный крючок, на котором наживка — *сластолюбие*, и с того мига, как злоумышленник схватил этот крючок, *он — пойман*. Он становится узником божественного Правосудия: совесть влечет и горестно волнует его, будто рыбу, которая, попавшись на крючок, только страдает и тщетно бьется в руке, обрекшей ее на смерть. \* Легко благому человеку принести большие жертвоприношения добродетели, поднявшись над своими самыми дорогими и вдохновенными привязанностями, ибо когда он становится господином самого себя, он вознаграждается за это потоками божественной любви, струящейся в его сердце. Со злоумышленником происходит с точностью до наоборот, и преступление предстает перед его глазами в самых обольстительных тонах, но едва он его исполнил, как это обманчивое очарование оставляет после себя только чудовищные треволения.

**XXI.** Храбрость, присущая великим преступникам, служит им только для совершения преступлений, ведь движущая ими страстная неудержимость является видом вихря, которого им после содеянного не хватает, и, следовательно, они пребывают обездвиженными, предавшись наказанию религиозных мук. \* Тысячи зловещих призраков возникают в воображении виновного, он непрестанно бежит, но настигается ими повсюду. Особенно ужасное для него время это ночь, ибо спокойный сон дан лишь добродетели; и в течение всей ночи преступление, вынужденное обитать с самим преступником, видится ему таковым, каково оно есть, и, если можно так выразиться, касается его и вызывает ужас \* (23). Я полагаю, что Стесихора в удивительно правдивых тонах изобразила сновидение

Клитемнестры, что, впрочем, весьма созвучно истории, когда перед нами предстает Орест, являвшийся всякую ночь своей матери:

*И будто устремлялся из крововой пасти  
Парившего дракона над трепещущей царицей.*

Ибо приходящие к нам сновидения, появление среди бела дня призраков, ответы оракулов, небесные чудеса, все признаки божественного вмешательства, наконец, причиняют большое смятение и вызывают смертельный страх у всех людей, обвиняемых своей собственной совестью. Чудовищный тиран Кассандры во Фракии Аполлодор однажды ночью увидел во сне, что Скифы сварят его после того, как заживо сдирут кожу, и его сердце, кипя, будет нашептывать из глубины котла: *«Это я творец мук, которыми ты страдаешь»* (24). Другой раз ему показалось, что окружавшие его дочери вспыхнули, будто пылающие головни. Сын Писистрата Гиппарх незадолго до своей смерти увидел во сне, что Венера, держа кубок, наполненный кровью, бросилась им в его лицо. Друзья Птолемея, прозванного *Молниеносным*, увидели во сне Селевка, призвавшего на суд их повелителя, на котором волки и грифы были судьями. Царь Павсаний, находясь в Византии, заставил насильно прислать к себе юную деву, находившуюся в услужении, свободную и из хорошей семьи, звавшуюся Клеоникой, намереваясь провести с ней ночь, но поскольку царь спал, когда она вошла, и, внезапно проснувшись, он принял ее за врага, пожелавшего застать его врасплох, и убил ее на месте. И с тех пор во сне он часто видел эту деву, ему говорившую:

*Влекомому пороком сим — несчастье мужу!  
Ступай на казнь... (примечание XIV).*

И вконец отягощенный этим видением, не прекращавшим его одолевать, он был вынужден идти в город Гераклею, в котором находился храм, где вызывали души умерших, и, принеся в нем обыкновенные искупительные жертвы и совершив на могилах жертвенные возлияния, он добился того, что Клеоника появилась перед ним, сказав, *«что когда вернется он в Лакедемон, тогда обретет конец своим мучениям»*; и в самом деле, едва ступив на землю своей родины, царь сразу лишился жизни. Итак, исходя из посыла, будто душа не имеет жизни после смерти, а конец жизни есть предел всякой каре и всякому вознаграждению, можно с полным правом утверждать в отношении злоумышленников, которые будут наказаны и умрут сразу после совершения своих преступлений, что Боги обходятся с ними с излишней милостью. \* В действительности, самыми непоследовательными из людей будут те, кто, отказавшись от веры в бессмертие, станут, тем не менее, упрекать Божество, позволившее жить злоумышленникам, ведь испрашивать здесь для злоумышленника смерти значит недвусмысленно испрашивать того, чтобы он избежал возмездия: в этом случае нужно, наоборот, желать

ему жизни, то есть продления наказания. Нет посыла ни более простого, ни, к сожалению, более общего, чем этот: *«Как под оком справедливого Провидения подобный человек может жить спокойно? — Спокойно!»* Но ведомо ли, что он спокоен? Он, напротив во исполнение наказания осужден жить под кнутом Фурий. Если бы он умер, то не преминули бы задаться вопросом: *«Возможно ли, чтобы такой человек спокойно умер в своей постели?»* Следовательно, для удовлетворения наших мелочных суждений, необходимо, чтобы виновный чудесным образом был поражен в сам миг, когда таковым становится, то есть надобно исключить его раскаяние. На деле мы оказались бы намного несчастнее, если бы Бог являлся столь же безжалостным, сколь и человек! Впрочем, кто видит только кару, неминуемо и непосредственно следующую за преступлением, сможет ли он различить порок от добродетели, поскольку будет воздерживаться от преступления, только воздержавшись броситься в огонь? Духовный закон сложнее: кара отсрочена, ибо Бог благ, но она определена, ибо Бог справедлив. *«Не надейтесь, — говорит Платон, — избежать возмездия Богов: вы не сумеете быть ни столь маленькими, чтобы спрятаться под землей, ни столь большими, чтобы устремиться в небо (примечание XV); но вы подвергнетесь каре, которую заслужили, либо в этом мире, либо в ином, в аду ли, в местах ли еще более ужасных (примечание XVI), куда попадете после своей смерти.»*

**XXII.** Когда в течение долгой жизни для злоумышленника не наступает никакого материального и показательного наказания, сама жизнь служит практическим и наиболее мучительным убеждением виновного в том, что для преступления не существует ни мира, ни счастья, и, подвергнувшись всем превратностям и опасностям, преступнику остаются только ужасные угрызения совести. Лисимах, вынужденный из-за жажды сдаться Гетам сам со своей армией, воскликнул после того, как утолил жажду, будучи уже пленником: *«О Боги! Сколь я презрен, лишившись столь великого царства за столь короткое удовольствие!»* (25). Этот человек все же извиняем, ибо уступил физической потребности, против которой воля не может ничего; но когда влекомый необузданным желанием богатств, честолюбием или прелестью постыдного наслаждения несчастный совершил некое скверное деяние, когда вскоре угасает жажда вождения и неистовство страсти его больше не волнует, он замечает, что вместо этого печального призрака удовольствия, преследовавшего его с таким пылом, он обрел только смятение, горечь и сожаления. Тогда, но слишком поздно, он укоряет себя в том, что отравил всю свою жизнь, наполнив ее, ради получения жалких и мимолетно проходящих наслаждений, страхами, грустными воспоминаниями, жгучими раскаяниями, недоверием к настоящему и боязнью перед будущим (26). Именно так Ино восклицает на театральной сцене, напоминая о своем преступлении:

*Красавица, чья нежность усыпляет мое горе!  
Хоть впредь я не могу в невинности благой  
Жить мирно в сей юдоли детства своего,  
Когда не испытал еще ни мерзости, ни страха,  
Моей души гнетущего воспоминанья.*

**XXIII.** И я думаю, что это горькое сожаление присуще всем виновным. Оно то, которое напоминает о самом себе: «*О, как я не могу уйти от памяти о стольких преступленьях! Как не могу освободиться я от угрызений совести, начав другую жизнь!*» Если бы удалось взглянуть в сердца, подверженные преступным страстям, то в них бы обнаружили треволнения Тартара: *вот почему я сам убежден, что великие преступники и особенно нечестивцы не имеют нужды ни в каком Боге и ни в каком человеке, чтобы их беспокоить*, ибо их пороки являются такими змеями, которые их терзают, и им достаточно жить, чтобы страдать. Где у них радости дружбы и доверия? Злоумышленник может видеть в людях одних врагов. *Постоянно остерегаясь тех, которые его знают и проклинают, он не опасается иногда только тех, кто его хвалят, но не знают, ведь сознание его вполне говорит ему, что те, кто воздают почести его мнимым добродетелям, этим объявляют себя врагами тех, кто ими не обладают. Значит, он не верит никому, он не доверяет никому, он никого не любит, и он кончает презрением и ненавистью к самому себе, и вся жизнь его в собственных глазах внушает только отвращение.* \*

**XXIV.** \* Но чтобы глубже исследовать вопрос о задержке божественных наказаний, необходимо принять во внимание, что Бог, подчинив человека времени (27), непременно должен был бы ему подчиниться и сам. Те, кто спрашивают о том, как для Бога потребовалось столько времени для совершения того или иного, приводят крайне слабое доказательство своего суждения: они спрашивают о другом мире, другом порядке вещей и не знают одинаково ни Бога, ни человека. Таким же образом и мудрецы, пытавшиеся глубже рассмотреть данную тему, не только не смутились от этих отсрочек в божественном воздаянии, но, обобщив вопрос, они пришли к выводу, будто эта неспешность в деяниях всемогущей мудрости являлась печатью и отличительным характером Божества. Еврипид предпринял исследование древней теологии, посчитав за честь обратиться к этим знаниям, ибо он сам, пусть и прикровенными словами, говорит в хоре трагедии «Алкеста»:

*Полет средь облаков мой  
Правят музы в доблестном порыве,  
И знаний неизвестных тайны  
Открылись вдруг моим очам (28).*

Этот поэт, говоря о Божестве, написал следующий замечательный стих в своей трагедии «Орест»:

*Оно вершит неспешно, ведь такова его природа.*  
(примечание XVIII)

Чем, как мне кажется, совершенно подтверждается репутация, доставшаяся человеку, глубоко погруженному в божественные знания, поскольку нет ничего истиннее этого изречения. В реальности человек, каков он есть, не может быть управляем Провидением, если только божественное деяние по отношению к нему не становится, так сказать, *человеческим*; в противном случае, оно бы уничтожило человека, вместо того, чтобы им руководить. \*

**XXV.** \* Данный характер Божества, ощущаемый всеми людьми, породил убеждение, шокирующее человеческий разум, которое, тем не менее, стало универсальной догмой среди людей всех времен и всех стран: «Все без исключения уверовали, что злоумышленник, не получивший воздаяния в течение своей жизни, может быть наказан в своем потомстве, насколько не участвовавшем в преступлении, когда невинный наказывается за виновного». Это и вовсе возмущает разум, и поскольку мы проклинаем всякий день тиранов, издевавшихся над личностями, семьями и даже над жителями целого города, то как мы можем связывать с Божеством возмездие, о котором мы судим как о преступном, за преступления, совершенные предками этих несчастных? Есть ли способ понять, почему небесный гнев, как бы затерявшись под землей, наподобие некоторых рек, в момент, когда появилась возможность воздаяния за преступление, спустя продолжительное время внезапно вырывается наружу, чтобы поглотить невинность? \*

**XXVI.** \* Эти сомнения возникают сначала во всех умах, но когда их рассматривают более тщательно, выходит весьма необыкновенная вещь, и каковой бы она не являлась в своем истоке, она начинает становиться правдоподобной. Ибо нельзя помешать себе спросить: «Как столь возмутительное воззрение, по крайней мере, на первый взгляд, могло сделаться убеждением всех людей, если бы оно не опиралось на некий глубинный смысл, о котором мы не ведаем?» И это первое сомнение вскоре вызывает размышления, обращающие ум к совершенно противоположному мнению». \*

**XXVII.** Напомним праздник, еще недавно отмечавшийся Греками в честь семейств, предки которых имели честь видеть свое жилище, почтенное присутствием Богов (29); напомним о необыкновенных почестях, пожалованных потомству Пиндара; эти свидетельства общественного признания, эти персональные отличия, столь справедливо удостоенные верностью наших отцов, пронизывают нас радостью и восхищением, и чтобы не рукоплескать им необходимо было, как говорил сам Пиндар, иметь *сердце, закаленное ледяным огнем*. Не отмечает ли до сих пор Спарта память своего знаменитого Терпантра? На этих празднествах, после того, как исполнялся традиционный гимн, разве не восклицал глаша-

тай о том, чтобы *кинуть жребий о доле, предназначенной наследникам Терпандра?* И разве Гераклиды не имеют права носить короны? И разве закон Спарты не установил, что это преимущество будет неприкосновенно сохранено за потомками Геракла в качестве признания заслуг, некогда оказанных героем Греции и не получившим за то никакого вознаграждения? Я не окончил бы, если бы хотел рассказать о почестях, воздаваемых некоторым семействам в память об их славном предке. Это дань уважения, оплачиваемая наследникам великой личности, является всеобъемлющим чувством. Оно до такой степени внутренне присуще человеку, что даже завистливые люди наименее возмущены данным свойством, нежели всеми остальными, хотя оно и не смогло бы выдержать элементарного возращения. \* Итак, мне представляется, что столь всеобщее чувство может доставить философии прекрасный предмет для размышлений, и отсюда мы научимся не спешить кричать о несправедливости, когда увидим сына, наказанного за грехи своего отца, ибо тогда необходимо было бы по той же самой причине восстать против почестей, воздаваемых аристократии: в действительности, если мы признаём, что вознаграждение за добродетели не должно никак ограничиваться тем, кто ими обладает, но обязано продолжаться в его потомках, значит должно сделаться столь же справедливым и то, что наказание не прекращается с преступлениями, но оно настигает еще и потомство злоумышленника. Если мы рукоплещем почестям, которыми Афины осыпали наследников Кимона, согласимся же по той же самой причине и с тем, что эта республика навеки прокляла и изгнала потомство Лахареса (Lachares), тиранившего свою родину в течение четырех лет и бросившего ее затем по расхищении храмов вместе с общественной казной. И это вовсе не соответствует тому, к какому выводу мы приходим: мы признаём принцип, необходимое следствие которого тут же отвергаем, и противоречия для нас не значат ничего, только бы они нас снабжали пищей для укоризны Богам. \* Если семейство злоумышленника уничтожено, Боги несправедливы; если же оно процветает, они несправедливы еще больше: такова воля Провидения, но ее либо не признают, либо оспаривают. Не повторим и мы той же самой ошибки, используя для себя уже изложенные умозаключения в виде определенной преграды во избежание сих неблагоприятных и обвинительных рассуждений.

**XXVIII.** Но обратимся вновь к нити повествования, которая должна нас направлять в темном лабиринте божественных приговоров, и пойдем осторожно, сохраняя наш разум, если можно так выразиться, в рамках смиренной и скромной сдержанности, и, привязавшись ко всему самому очевидному, \* никогда не позволяя нашим мыслям впадать в заблуждение и становиться самоуверенными, \* не будем особенно помышлять и о том, как окружающие нас материальные вещи представляют те же самые непостижимые таинства, которые мы, однако, вынуждены разуметь. Я не знаю, к примеру, почему действие, длящееся во временном промежут-

ке нам кажется менее ясным, чем действие, растянутое в пространстве. Спрашивается: почему Фокеяне и Сибариты наказаны за преступления, совершенные их отцами? И я спрашиваю: почему Перикл умер, и почему Фукидиду угрожала болезнь, зародившаяся в Эфиопии (30)? Пускай больше всего нужно было бы доказать и объяснить, каким образом человек сей не умер по пути и отчего соседние страны не заразились данной болезнью. Впрочем, это лишь пример, *и между вещами высшего порядка и естественными вещами присутствуют связи и таинственные сооществия*, о которых можно судить только по опыту, преданиям и общему чувству всех людей. \*

**XXIX.** \* Вышесказанное соотносится с человеком, рассматриваемом в индивидуальном порядке, но если мы намереваемся рассмотреть его в социальном плане, то выйдет, что нет большей трудности, и божественное возмездие, скатившееся на Государство или на город спустя долгое время после смерти виновных, только вносит смятение в наш разум. \* В действительности Государство та же самая делящаяся вещь, целое, подобное некоему животному, всегда являющемуся самотождественным, возраст которого не способен изменить его идентичность. Государство бывает всегда *одним*, тогда как общество содержит в себе единство, достоинство или проклятие, вознаграждение или кару за все совершенное им сообща, что ему справедливо и отпускается, как и человеку-индивиду, в зависимости от заслуженного им. Если намереваются разделить Государство в своей жизни на несколько частей, когда в предыдущем столетии оно не являлось бы тем же, чем предстает сегодня, то не лучше ли разделить подобным образом и человека под тем предлогом, что если сегодня он стар, следовательно, был в пору своей юности шестьдесят лет назад вовсе иным. Это софизм, нравившийся ученику Пифагора Эпихарму, который забавлялся, утверждая, что если человек, занявший денег, не в состоянии их вернуть в срок, значит, он больше не *тот*: первоначальный заемщик сделался другим человеком; и когда гость, званный вчера к обеду, приходит сегодня к столу без приглашения, значит, он изменился в указанный промежуток времени. Все же время приводит к большей разнице в человеке, нежели в городах или Государствах, ибо всякий, кто видел Афины тридцать лет назад, не найдет в них ничего изменившегося, иными словами, он увидит здесь те же самые нравы, удовольствия и вкусы; но если вы проживете несколько лет, не общаясь с человеком, с которым были на короткой ноге, то едва сумеете узнать его лицо; что же касается нравов, то он мог столь сильно изменить свои привычки, образ жизни и склонности, что вы его не признаете вовсе; однако же никто не подвергает сомнению тождественность человека от рождения до его смерти. Итак, думая солидарно о городах и Государствах, мы, по крайней мере, не хотели бы заблуждаться в идее Гераклита, основательно полагавшего в некотором смысле, *что нельзя дважды войти в одну и ту же реку* (31) (примечание XVIII).

**XXX.** Но если государство должно рассматриваться под таким углом, одинаково нужно рассматривать и семью, происходящую от общего с государством начала, с которым ее связывает неведомая тайная сила, неведомое сообщение сущности и свойств, простирающееся ко всем индивидам по нисходящей линии. Рожденные в поколениях ничем не напоминают произведения искусства. В отношении последних скажем: когда работа завершена и тотчас отделена от руки художника, она уже больше ему не принадлежит; она прекрасно исполнена им, но не *от него*. Наоборот, все порождаемое проистекает от самой сущности порождающего существа и от *него* получает определенную вещь, которая весьма справедливо наказана или вознаграждена для *него*, ибо эта вещь *она* и есть. И если бы в материале подобной значимости было бы уместно, избежав подозрений, говорить не столь серьезно, я рассказал бы о том, насколько Афиняне оказались неправы в отношении статуи Кассандра, когда вознамерились ее разрушить, а Сиракузяне еще более неправы по отношению к мертвому телу тирана Дионисия. Даже если один и другой народ боролись против потомства этих двух тиранов, они не сумели ничего причинить ему, ибо статуя Кассандра не содержала в себе ни толики от реального тирана, а труп Дионисия уже не являлся самим Дионисием, хотя дети порочных и преступных людей суть произведения той же сущности их отцов. Но принципиально здесь также чем эти дети жили, питались, о чем думали и что говорили, иными словами, все заложенное в них родителями. Отсюда не должно казаться ни странным, ни затруднительным думать о том, что между порождающим и порождаемым существами имеется некое оккультное тождество, способное справедливо подчинять второе всем следствиям деяний первого.

**XXXI.** Что необходимо называть *благом* в медицине? Все, что исцеляет. И с полным правом будут смеяться над тем, кто станет просить врача совершить нелепость по отношению к ноге, прижегши ее, дабы избавить от боли голову или грудь, либо над тем, кто станет проклинать хирургические операции, считая их жестокими и аморальными. На мой взгляд, окажется не менее смешным и тот, кто подумает, будто в духовном врачевании, то есть в божественных карах, можно обладать сущностно иным *благом*, нежели тем, что исцеляет пороки, являющиеся недугами души. Кто-то, несоосненно, мог забыть, что зачастую школьный учитель, наказывая школьника, удерживает всех других учеников в порядке, что полководец, казня каждого десятого из своих солдат, способен вернуть остальных к послушанию и спасти Государство, подобно тому, как хирург может уберечь глаза, вскрыв вену на руке или ноге. Между телами существует подлинное сообщающееся движение, \* и удар, поразивший одну душу божественной десницей может распространиться на другие в последующих толчках до неведомых нам пределов. \*

**XXXII.** Данное умозаключение, впрочем, предполагает бессмертие души, ибо допускает, что Бог распределяет благо и зло, исходя из наших

заслуг. Тождественно с этим утверждать, что Бог вмешивается в поведение людей, либо утверждать, что наши души бессмертны, ведь если бы в нас не было ничего божественного, ничего подобного ему, иными словами, ничего бессмертного, и если бы человеческие души следовали друг за другом как листья, падение которых обеспечило столь блестящим сравнением божественного Гомера (примечание XIX), Бог не соизволил бы и заниматься нами. Но поскольку, наоборот, он занимается нами непрестанно, \* поскольку не прекращает нас наставлять, нам угрожать, отстранять от нас зло, призывать нас к добру, карать наши пороки, вознаграждать наши добродетели — это верный знак \* того, что он создал нас совсем не эфемерными растениями, и он не ограничивается мимолетным сохранением наших *свежих и зеленеющих* душ, если можно так выразиться, в брэнном теле, подобно тому, как женщины, прикрепленные к садам Адониса, хранят, о чем говорится, цветы в хрупких сосудах земли (32). Но он вложил в нас истинный корень жизни, который должен однажды прорасти в бессмертие. \*

«Нужно верить, — сказал Платон, — во всем законодателям, в особенности же в том, что касается души, когда они говорят, что она всецело отличается от тела, являясь подлинным нашим *я*, тогда как наши тела только вид призрака, следующего за нами... И что человеческое *я*, называемое нами *душой*, поистине бессмертно: оно будет давать отчет Богам, как учит закон страны, и сие станет утешительно для праведного и ужасно для грешника. Значит, мы не думаем о том, что эта масса тел, которую мы хороним, была людьми: чьим-то сыном, братом и т. д. Хотя на самом деле, погребая их, мы верим, что есть определенная *часть* для иной юдоли, после того как завершилось пребывание в этой» (33) \*.

**XXXIII.** И посмотрите как все религиозные церемонии предполагают бессмертие. Религия призывает нас прибегать к алтарям, особенно когда человек оставил сей мир, и приносить за него искупительные жертвы. Почести всякого рода, воздаваемые в память усопших, свидетельствуют о той же самой истине (примечание XX). Пусть думает, кто захочет, что эти авторитеты нас вводят в заблуждение. Ну а мне, чтобы согласиться, будто душа не живет после тела, станет необходимым сокрушить пророческий треножник Дельф, где некогда Пифия возвестила прорицание некоему Каллонду из Накса (Callondas de Naxos):

*Верить, что дух смертен, значит оскорблять Богов.*

**XXXIV.** Этот Каллонд убил героя, посвященного Музам, звавшегося Архилохом. Чтобы замолить свое преступление и обрести прощение, он предстал поначалу перед Пифией, которая сразу отвергла его просьбу, но, снизойдя к его бременю, пророчица повелела Каллонду идти в место, расположенное близ города Тенар, где по обыкновению заклинали и вызывали души мертвых, и там успокоить душу Архилоха искупительными

жертвоприношениями. Также и Павсаний был убит в Спарте по решению Эфоров известным всем способом, и Спартанцы, встревожившись определенными явлениями, прибегли к оракулу, посоветовавшему им искать средства для упокоения души их царя: они, действительно, нашли в Италии умелых жрецов и экзорцистов в искусстве вызывать мертвых, коим удалось своими жертвоприношениями изгнать дух Павсания из храма, \* крышу которого разрушили Эфоры, а врата замуровали, чтобы похоронить здесь голод и страдание. \*

**XXXV.** Получается абсолютное тождество: если имеется Провидение, значит человеческая душа никогда не умирает, ибо невозможно, чтобы одна из этих двух истин существовала бы без другой. Итак, если душа продолжает существовать после смерти, то легко себе представить, что она была либо наказана, либо вознаграждена, и всякий вопрос сводится теперь лишь к способу означенного действия. Эта жизнь является постоянной борьбой (34), и только за порогом смерти душа может узнать цену, которую заслужила. Однако никто не знает, что происходит в ином мире, и некоторые даже в него не верят, но все это не играет особой роли для мироустройства. Напротив, возмездие, проявленное зримым образом на потомстве виновных, поражает глаза и в состоянии удержать многих людей от совершения преступлений.

**XXXVI.** Поистине нет более ужасного и постыдного наказания, чем видеть из-за своей ошибки собственных несчастных отпрысков (35). Представим себе душу злого человека, врага Богов и законов, лицемерную после его смерти, не свою оскорбленную память, не свои поверженные изображения и статуи, но своих собственных детей, друзей и родителей, опустошенных и страдающих из-за нее, отягощенных из-за ее ошибки несчастьями и нравственными терзаниями. Невозможно вообразить себе горшную кару, и когда бы этот человек мог вернуться к жизни, то отказался бы от своих божественных почестей, если ему их оказывали, прежде, нежели предаться несправедности и сладострастию, которые его погубили (36).

**XXXVII.** Философ Бион говорит, что если бы Бог наказывал детей виновных за преступления их отцов, то было бы не менее смешно, чем когда врач прописывал бы лекарства внукам для лечения деда. Но это, на первый взгляд, восхитительное сравнение является на самом деле очевидным софизмом. Во-первых, речь не идет о лечении деда, который предположительно сам больше не существует, а дело касается наказания, и мы видели, что созерцание его потомства, страдающего из-за него, совершенно достигало данной цели. Во-вторых, лекарство, прописанное больному, бесполезно для всех зрителей, но когда, напротив, они наблюдают за потомством злоумышленника, которое обязано испить до краев горькую чашу скорби за преступления виновного отца, свидетели этого ужасного приговора обращают внимание на самих себя: они воздерживаются

от порока или стараются от него отступить. Наконец — и это главный смысл — беспредельное множество болезней, неизлечимых по своей природе, порождают тем временем порок из-за неумеренности больного, который приносится в жертву своих собственных излишеств. Итак, если сын этого несчастного проявляет определенную, даже весьма слабую предрасположенность к той же самой погубившей отца болезни, то опекун или воспитатель, обнаруживший подобное, разумно пропишет ему строгую диету, заставив принять все снадобья предохранительного характера, в том числе подчинит занятиям тяжелыми физическими упражнениями, чтобы попытаться с помощью сочетания средств искоренить из его тела ростки болезни, которая кажется неблизкой. И не советуем ли мы ежедневно всем рожденным от болезненных родителей лучше следить за собой, с ранних лет заботясь о наличии малейших тревожных симптомов, дабы уничтожить корень зла прежде, нежели он наберет силы?

**XXXVIII.** Нам не стоит бездумно прописывать чрезмерный режим и даже горькие средства детям людей, отягощенных подагрой, эпилепсией и другими схожими заболеваниями. Мы их не лечим вовсе не потому, что они столь больны, но от страха, что они к этому не способны. А посему из-за грубой терминологической ошибки назвали данные виды лечения *наказаниями*. Тело, рожденное от другого ущербного тела, должно быть *поправлено* и *излечено*, но не *наказано*. Но если так бессилен человек, чтобы дать этим снадобьям имя *воздаяний*, ибо они прискорбны и лишают его определенных грубых наслаждений, то нужно бросить об этом говорить: человек достоин заниматься одним собой. Впрочем, если полезно и здраво лечить тело только потому, что оно происходит от другого некогда поврежденного и испорченного тела, то отчего бы, по меньшей мере, не искоренить в душе молодого человека росток наследственного порока, когда этот порок лишь начинает проявляться? Не лучше ли позволить этому пороку беспрепятственно развиваться до тех пор, пока лихорадка страстей не сделается сильнее всех лекарств и пока болезнь, внезапно ставшая неизлечимой, не откроет, наконец, всем воочию *постыдный плод, созревший в безрассудном сердце*, как сказал еще Пиндар? Полагаете, что Бог не ведал об этом столь же, как и Гесиод, оставивший нам следующее предписание:

*Благоразумный муж, страшись соделаться отцом,  
Когда идешь домой от погребального костра;  
И ожидай конца увеселительных застолий,  
Почтив тем самым обитателей небес.*

\* Так, древние мудрецы верили, что обыкновенные сумрачные мысли, слишком явно представленные в разуме отца в миг, когда он začínал новую жизнь, могли превратно повлиять на характер и здоровье его будущего сына. Значит, можно легко рассудить о том, что они думали о грехах

и постыдных эксцессах, тревоживших душу не мимолетным образом, но изменяющих и растлевающих ее в своей сущности. Проникнувшись этими истинами, Платон сказал: «Постараемся сделать браки святыми настолько, насколько это во власти человека, ведь самые святые наиболее полезны и для Государства» (37). Всецело обратившись к данной теме, Платон доходит и до свадебного пиршества, которое ему не кажется далеко безразличной вещью.

«На нем мог председательствовать тот, — говорит он, — кто вел себя, соблюдая достоинство, а кто напивался, был немедленно изгоняем. Особенно брачующиеся должны сохранять совершенное спокойствие в сей торжественный миг, когда происходит столь великое изменение в их состоянии. И поскольку мудрость бодрствует в любое время суток, то никто не знает днем или ночью совершится человеческое зачатие *с божественным присутствием* (38). Пьяный человек не способен к воспроизводству себе подобных, ибо он пребывает в подлинном слабоумии, действующим на душу и тело... Если в таком состоянии он имеет несчастье стать отцом, то можно биться об заклад, что будет иметь слабых и плохо сложенных детей, которые в прямом и переносном смысле *не станут никогда ходить праведными путями* (39). Значит, очень важно, чтобы супруги в течение всей совместной жизни, а особенно в период, когда способны обзавестись детьми, не позволяли себе ничего преступного, ничего того, что по своей природе могло бы породить в теле физические нестроения, ведь пороки, передаваемые в поколениях, запечатлеваются на душе и теле потомков, появляющихся на свет уже ущербными. Итак, нет ничего более существенного для супругов, чем быть чистыми днем и особенно в брачную ночь, *поскольку мы все несем в своей сущности одно самое сокровенное начало и одного Бога, который всякого приводит к добру, если Бог должным образом уважаем и почитаем теми, кто использует его влияние*» \* (примечание XXI).

**XXXIX.** И хотя наследственность заболеваний и пороков являлась неоспоримой истиной, признанной наиболее великими людьми и даже универсальным преданием, ошибутся, однако, многие, если сведут ее к некоторой симметричной и моментальной вещи, когда сын бы непосредственно наследовал грехи и пороки, как и имущество своего отца. Медвежата и тигрята при рождении представляют собой все свойства и склонности собственного вида настолько, что они послушны слепому инстинкту, ничего не изменяя в этих свойствах. Иное дело обстоит с человеком даже в смысле его совершенства, ибо он проявляет свое превосходство во всем обладаемом им, в том числе и в плохом. Хотя зло для него всегда случайно и противоестественно. Будучи развращенным, он более или менее поддается голосу разума и подчиняется закону, к чему его обязывает общественное мнение и ведет обычай; когда он искушаем превратными склонностями, его совесть с ними борется; и даже когда он ими побе-

жден, то и тогда доброе нравственное чувство выживает в невинности, и он бросается в лицемерие, предавшись тем самым новому пороку, чтобы использовать еще почести доробетели после того, как прекратил быть достойным их. Но мы совсем не замечаем ни внутренней борьбы, ни преступных ухищрений, мы не верим виновным, прежде чем не разглядели их преступлений; чаще мы думаем, что есть только тот несправедливый человек, кто покусился своей рукой на добро другого; тот одержимый злобой, кто оскорбил кого-нибудь; тот трусливый, кого мы увидели бегущим с поля боя. Эта простота сродни мнению, что жало скорпиона возникает у него лишь в момент, когда он им колет, или яд гадюки появляется у нее одинаково внезапно, когда она кусает. Злоумышленник вовсе не становится таковым в миг, когда им оказывается: он несет в самом себе изначальную греховность, которая проявляется тогда, когда он находит для этого средство, возможность и случай (40). Но Бог, который искони ведает о врожденном характере и склонности всякого человека (и души ему известны больше, нежели тела), никогда не выжидает времени для наказания, чтобы насилие подняло руку, чтобы бесстыдство взяло слово или чтобы невоздержанность отяготила естественные органы, ведь подобный способ наказания не может соделаться выше человеческого судилища. Когда Бог наказывает, он отмщает себя не как мы: самый изощренный беззаконник не в силах ему нанести ущерба, а похититель лишить его чего-то и прелюбодей оскорбить его чем-то. Итак, он наказывает скупца, прелюбодей и нарушителя законов лишь посредством своего лекарства, и зачастую он удаляет порок, как излечил бы и сугубое зло прежде пароксизма. Иногда сетуют на то, что злоумышленники слишком медленно наказуемы, иногда находят неправильным, что Бог пресекает развратные наклонности некоторых людей раньше, чем они произвели бы свои пагубные последствия; это — единственное противоречие! Мы не хотим видеть, что будущее зачастую хуже и намного опаснее настоящего, и если для одного человека возможно полезнее, чтобы божественное Правосудие пощадило его после совершения греха, то для другого лучше быть предупрежденным и наказанным прежде, нежели он смог бы воплотить свои погубительные намерения. Тот же самый закон обнаруживается и в материальной медицине, ибо часто лекарство поражает болезнь, но не менее часто оно может спасти и человека, имеющего здоровую внешность, хотя последний пребывает в большей опасности, чем всякий иной.

**XL.** Здесь обнаруживается еще причина, почему Боги не всегда воздают детям, ответственным за ошибки их отцов. Ведь если выходит, что добрый сын рождается от злого отца, как случается, что здоровый и крепкий сын рождается от болезненного родителя, то этот сын будет выглядеть избавленным от наказаний своего рода, поскольку является благом семейства и чужд порокам с родовым проклятием, подобно сыну, который станет осмотрительно воздерживаться от пьянства расточительного отца,

тогда как молодой человек, добровольно *пустившийся* в наследственную греховность, будет предан наказанию по грехам и долгам своего преемства \* (41). Мы совсем не должны удивляться, видя в истории знаменитых преступников, сыновья которых не были вовсе наказаны, поскольку являлись весьма порядочными людьми. Что же касается тех, кто воспринял, возлюбил и воспроизвел пороки своих отцов, то божественное Правосудие их очень справедливо покарало за такое родовое сходство.

**ХLI.** Весьма часто бывает, что пороки, родимые пятна, наиболее существенные случаи физических недостатков, пристрастия и характер передаются вовсе не от отца к сыну. Мы замечаем, что они могут проявиться и у самого далекого отпрыска. Мы видели одну греческую женщину, которая родила негритенка в наказание за супружескую неверность; затем после проведенного расследования выяснилось, что она происходила от одного Эфиопа в четвертом поколении. Пифон и Нисибия были из расы этих первоначальных Фиванцев, основателей и первых властителей города Фив, коих мы называем *Семес (Semes)*, поскольку они появились на свет от зубов дракона, посеянных Кадмом после того, как он его убил. Итак, последний сын этого Пифона, смерть которого приключилась в наши дни, носил на своем теле изображение копья, служившее отличительным знаком всех членов этого семейства, вновь появившегося спустя очень длительный промежуток времени. \* Как тело, удерживающееся на глубине вопреки закону своей массы, поднимается внезапно и оказывается на поверхности воды, устранив к тому препятствие, \* таким же образом некоторые страсти и моральные качества, присущие роду, пребывают, словно погруженные, под толщей времени или какой-нибудь иной неизвестной действующей силы, и если под влиянием иной столь же неведомой причины они высвобождаются, то становится тотчас видно, как они занимают свои прежние места (42), а семейство вновь обретает свой добрый или злой отличительный признак.

**ХLII.** Следующая история вполне уместна для завершения этого рассуждения. Возможно я желал бы с удовольствием рассказать вымышленную басню, но, почерпнув все представившееся мне наиболее правдоподобным на сей счет, я могу лучше изложить эту сказку (если она сказка) такой, как мне ее сообщили совсем недавно (43).

### История Феспесия (примечание ХХII)

В недавнем прошлом в Соли (Soli) в Киликии жил человек по имени Феспесий, большой друг Протогена, продолжительное время жившего в Дельфах вместе со мной и некоторыми нашими общими друзьями. Этот человек, ведший в своей ранней юности крайне беспечную жизнь, потерял все свое состояние в очень короткое время и, впав в нищету, целиком развратился, пытаясь всеми возможными средствами настичь ускользающую от него фортуна, уподобившись в том распутникам, которые гнуша-

ются даже достойной женщиной и отвергают законное обладание ею, но стараются затем, после того как она вышла замуж за другого человека, соблазнить ее, чтобы использовать в своих преступных целях. Феспесий, не чураясь, использовал все доступные средства во исполнение своих намерений и за малое время привлек к себе не множество добра, но множество позора. Его отвратительная слава возвысилась еще и благодаря ответу, который он услышал от оракула Амфилоха, когда спросил последнего о наступлении в будущем лучшей для себя жизни. Ответ был, *что вещи станут лучше после его смерти* (44). Это в общем смысле могло, вероятно, означать, что не нужно прекращать опускаться до конца своей жизни.

**ХLIII.** Но вскоре событие истолковало предсказание оракула. Упав малое время спустя с возвышенного места и получив сильный ушиб головы без прободения, Феспесий потерял сознание и пребывал три дня в состоянии абсолютной нечувствительности так, что его уже мнили мертвым; но во время похоронных приготовлений он неожиданно пришел в себя и, обретя ясное сознание, круто изменил свой образ жизни. И вся Киликия подтверждает, что никогда не знала более чуткой совести, чем совесть Феспесия, во всех торговых и полезных делах, и более нежного почтения к богам, нежели набожность Феспесия; не было более преданного друга и более ужасного недруга для врагов (примечание ХХХIII). Те, кто водил с ним знакомство в прежние времена, желали узнать от него самого причину столь великого и внезапного изменения, ведь они были уверены, что такое исправление после непристойной жизни не могло произойти случайно. Это была правда, о чем Феспесий лично и поведал упомянутому мной Протогену и некоторым из своих друзей (45).

**ХLIV.** В тот миг, когда душа оставила тело, произошедшее с Феспесием изменение поставило его на место лощмана, который должен быть сметен с борта корабля в морскую глубину. Немного успокоившись, ему показалось, что он начал прекрасно дышать и смотреть вокруг себя, и его душа раскрылась как глаз. Но зрелище, представившееся его взгляду, являлось полностью новым для него: он видел только светила огромной величины, расположенные друг от друга на безмерных расстояниях; лучи сияющего и переливающегося оттенками света исходили от этих светил и могли в мгновение ока доставить душу туда, куда ей хотелось идти, подобно судну, плывущему на полных парусах по спокойному морю. Оставив в стороне бесконечность вещей, увиденных им тогда, Феспесий сказал, что души тех, кто умирал напоминали огненные пузыри, поднимающиеся в воздух, который обеспечивал им проход; нисходящие же пузыри лопались, и из них выходили души в человеческом образе. Одни устремлялись вверх по прямой линии с потрясающей скоростью; другие вращались вокруг себя самих как веретено, поднимаясь или ниспадая попеременно так, что получалось беспорядочное движение, которое с трудом останавливалось спустя весьма долгое время.



**XLV.** Находясь среди множества душ, Феспесий узнал только две или три из них, к которым он постарался приблизиться, чтобы с ними поговорить, но они его совсем не поняли. Будучи словно ошеломленными и лишенными чувств, они ускользали от любого взгляда и контакта. Сначала блуждая поодиночке там и тут, а затем встречаясь с другими, размещавшимися в том же самом порядке, они крепко обнимались или метались из стороны в сторону, по случаю издавая непередаваемые крики, выражавшие смесь печали и ужаса. Иные души, достигшие высших областей эфира, наоборот, источали свет и часто приближались друг к другу во взаимном благосклонном движении: они избегали общения с тревожным множеством первых душ, хорошо передавая своим отстранением и своим влечением испытанные чувства горя или радости. Среди этих счастливых душ он узнал душу одного из своих родственников, о котором практически ничего не ведал, поскольку родственник умер в раннем детстве Феспесия. И душа, приблизившись к нему, поприветствовала его, сказав: *«Господь тебя хранит, Феспесий!»* На это он, изумившись, ответил, *«что звался Аридеем, но не Феспесием. «Прежде, — поправила другая душа, — так и было, но в будущем тебя назовут Феспесием (божественным), ибо ты еще не умер. Ведь только по особому повелению судьбы ты явился сюда в умозрительной части своей души, оставив другую в теле для его сохранения (46). Доказательство того, что ты еще полностью не отделился от своего тела таково: души мертвых не образуют никакой тень, и их веки совсем не моргают (47).* Эти слова побудили Феспесия лучше сосредоточиться, осознав увиденное, и уловить, оглянувшись вокруг себя, собственную тень, легко отражавшуюся по сторонам (примечание XXIV), тогда как другие души были окружены неким видом светящейся атмосферы, являясь, впрочем, прозрачными изнутри, правда, все в разной степени: одни блистали приятным и равномерным светом, подобным прекрасному свету полнолуния во всей своей красе; другие оставляли заметными тут и там некоторые темные пятна, что сродни чешуе или легким рубцам; третьи — и вовсе безобразные — были испещрены черным цветом как змеиная кожа гадюк; четвертые, наконец, имели слегка изъязвленные лица (48).

**XLVI.** Родственник Феспесия сказал, что богиня *Адрастея* (49), дочь Юпитера и Необходимости, обладала в ином мире полнотой власти, чтобы карать любой вид преступлений, и что никогда никакой великий или мелкий злоумышленник не сможет ни силой, ни хитростью избежать наказания, заслуженного им. Он добавил, что *Адрастея* имела в своем распоряжении трех исполнительниц, между которыми было разделено управление наказаниями. Первая из исполнительниц именуется *Пёне* (*Poene*) (50). Она карает мягко и быстро тех, кто в своей жизни уже физически понесли наказания в своих телах: она даже закрывает глаза на определенные вещи, нуждающиеся в искуплении. Что касается

человека, порочность которого требует более действенных средств, то Гений наказаний предаёт его второй исполнительнице по имени *Дикея* (*Dice*) (51), дабы быть ему наказанным как того и заслуживает. К тем же, кто абсолютно неизлечим и кого оттолкнула *Дикея*, приходит *Эриннис* (*Erinnys*) (52), самая ужасная из помощниц *Адрастеи*, и неистово гонит по пятам этих беглецов и бродяг в юдоли несчастья и скорби, хватает и немилосердно обрушивает их в бездну, куда никогда не проникал человеческий взор, которую никто не в силах описать словами (примечание XXV). Первое из этих наказаний напоминает то, что еще в ходу у Варваров. В Персии, к примеру, когда хотят наказать за некоторые ошибки, снимают с виновного платье и тиару, раскладывают их на полу и бьют бичами в его присутствии, а он, обливаясь слезам, умоляет, чтобы быстрее завершили сию кару. Одинаково обстоит дело и с божественными наказаниями: те из них, которые обрушиваются только на тело и имущество, никак не обладают пронзающим жалом, настигающим существо и проникающим вплоть до самого корня порока; в первом случае наказание существует лишь во мнении, и оно является чисто внешним; но когда человек уходит из жизни, не испытав даже похожих наказаний, и прибывает сюда, не будучи нисколько очищенным, *Дикея* его хватает, так сказать, нагого, и помещает открыто в глубь его души, не располагая никаким средством внешне совлечь или исправить ее порочность, которая, напротив, обнаруживается во всем, полностью и с любой стороны. Исполнительница выставляет поначалу виновного перед его родственниками добродетельными людьми (если таковые у него имеются) в качестве объекта стыда и презрения, который, получив от них жизнь, оказался их недостойн. И если они являлись одинаковыми с ним злоумышленниками, то он присутствует при их треволнениях, и сам в свою очередь долгое время страдает на их глазах до тех пор, пока последнее из его преступлений не будет искуплено карами, которые неистовее телесных мук, о чем реально свидетельствуют сновидения. Следы и рубцы каждого преступления существуют еще и после наказания — дольше по времени у одних и меньше у других. «Итак, — говорит он, — ты должен обратить большое внимание на различные цвета душ, ибо каждый из цветов знаменателен. Грязный черный цвет обозначает скупость и все низкие гнусные мошенничества. Пылкий красный показывает горечь зла и жестокость. Повсюду, где ты увидишь синий цвет, это признак нечестивых преступлений, которые ужасны и тяжело стираемы (примечание XXVI). Зависть и ненависть источают язвительный фиолетовый цвет, порожденный их собственной сущностью, иссушающей как черный ликёр. В течение жизни эти пороки запечатлеваются разными цветами на теле человека беспорядочными движениями его души. Здесь же, наоборот, чуждые цвета говорят о состоянии искупления и, следовательно, о надежде на завершение наказаний. Когда эти пятна, наконец, полностью ис-

чезают, тогда человеческая душа становится светлой и принимает свой естественный цвет, но пока они существуют, всегда случаются определенные повторения страстей и устремлений, что сродни лихорадке, слабостью у одних и неистовой у других. Итак, в данном состоянии одни, испытав несколько раз наказание, обретают, наконец, свое естество и свои первоначальные качества; но есть такие, кто, будучи приговоренными брутальным невежеством и властью вождельней, возвращаются в свое старое пристанище, чтобы обитать в телах различных животных, ибо их слабый и ленивый рассудок не в силах возвыситься до созерцательных и умозрительных идей, ведь ведомы они постыдными воспоминаниями о сексуальных соитиях (53), и поскольку они не способны еще возобладать над пороком и даже просто укротить свои органы (где пребывает только суетная греза наслаждения, которая не может произвести никакой реальности), они посылаются на землю этой же всегда живой страстью, дабы утолить здесь свои желания посредством данных им тел».

**XLVII.** После этого рассуждения родственник Феспесия провел его сквозь бесконечное пространство легким и приятным способом, перенеся на лучах света, как на крыльях (54), и затем поставил на краю бездны, где Феспесий был неожиданно охвачен силами, с которыми общался до сих пор; он увидел, что другие души оказались в том же самом состоянии, ибо походили на летящих стаями птиц, которые, непрестанно кружа, не осмеливались влететь в окошко, хорошо напоминавшее вертеп Бахуса, украшенное зелеными ветвями и всевозможными листьями. Оттуда исходил ласковый и свежий ветерок, сдобренный крайне приятным запахом, обращавший всех, кто его вдыхал, в состояние, напоминавшее опьянение. Вкушающие его души проникались радостью. Вокруг вертепа были видны только вакхические танцы, развлечения и игры всякого рода. Проводник Феспесия сказал, что Бахус выходил отсюда, чтобы пребывать в собрании богов, и затем сюда приводил Семелею, а место это называлось *завенние*. Феспесий хотел здесь задержаться, но родственник воспротивился тому и силой вырвал его из этого места, показав с избытком последствие сей страсти, увлекавшей Феспесия, так сказать, к расслабленности и интеллектуальному разложению, когда в человеке высвобождалась имеющаяся в нем животная часть, возбуждавшая телесное воспоминание, от которого, в свою очередь, рождалось желание услады, справедливо названной в греческом языке именем, означающим *склоненного к земле* (примечание XXVII), как если бы она меняла направление души, притягивая ее к земле (55).

**XLVIII.** Феспесий уже прошел весьма долгий путь, по которому его там провели, когда ему представилось, будто он видит огромный кратер, откуда исходят, проистекая, многие потоки: один такой же белый, как снег или морская пена; другой — ярко-красный и живой, коим мы восхищаемся, наблюдая раду; прочие потоки, каждый из которых казался издали особо-

го цвета, и каждый из цветов переливался по-разному. Но по мере того, как два путника приблизились к кратеру, все цвета исчезли, за исключением белого (примечание XXVIII). Три духа, восседающие в форме треугольника, занимались перемешиванием вод в определенных пропорциях. Проводник Феспесия сказал ему тогда, что Орфей проникал вплоть до этого места в поисках души своей жены, и, не удержавшись от того, чтобы показаться ей на глаза, он оставил затем среди людей ложное предание, дескать, Аполлон и ночью вещал через оракула, находящегося в Дельфах, хотя Аполлон — это солнце, и он не может иметь ничего общего с ночью.

“Что касается оракула, пребывающего здесь, — добавил проводник, — то по-настоящему он присущ лишь луне и ночи и не доступен ни в какой точке земли, ни в каком центре; он, наоборот, блуждает в людском мире и проявляется посредством сновидений и явлений, ибо именно отсюда сновидения, перемешавшие в себе, как ты знаешь, истину с ложью, выходят, чтобы парить по всему мирозданию над головами уснувших людей. Все относящееся к оракулу Аполлона ты никогда не увидел бы и не смог бы сего увидеть, поскольку образ действия, свойственный низшей или земной части души, никогда не применим в высшем пространстве к телу, которое держит душу в зависимости от себя» (56). Завершив свои слова, он постарался, направив Феспесия, показать ему свет, изначально исходящий от треножника, и сосредоточился потом на Парнассе, пройдя через Фемиду (примечание XXIX); но Феспесий из зависти созерцать этот свет не смог выдержать его ослепительного сияния. Однако на пути он услышал пронзительный глас женщины, вещавшей стихами и сказавшей, между прочим, когда именно умрет Феспесий. Дух (57) объявил, что глас принадлежал Сивилле, прорицавшей будущее и вознесенной в лунный круг. Феспесий возжелал узнать больше о грядущем, но был вытолкнут стремительным лунным вихрем, отбросившим его на противоположную сторону, услышав только предсказание близкого извещения Везувия и разрушения города Пуцзолы (Pouzzoles), а также слова в адрес правившего тогда императора:

*Блаженный муж, почитает он в своей постели (58).*

**XLIX.** Затем Феспесий со своим проводником посетили места, где томились грешники, и поначалу поразились столь печальному и горестному зрелищу, ведь Феспесий был далек от того, что ожидал увидеть, и пришел в замешательство, найдя здесь своих страждущих друзей и приятелей: его самые близкие знакомые, подверженные ужасным наказаниям, оборачиваясь к нему, испускали жалостные вопли. Наконец он увидел там своего собственного отца, появившегося из глубокой бездны, покрытого червоточинами и рубцами, протягивающего руки к своему сыну, принужденного палачами, коим поручено его мучить, прервать молчание и громогласно исповедаться сыну в том, что, захотев овладеть золотом и деньгами чуже-

странцев, некогда остановившихся у него на постой, он вероломно убил их, и это преступление было абсолютно неизвестным в той жизни, но раскаявшись в нем в месте своего нынешнего пребывания и испив сполна одну часть наказания, он будет отправлен в область, где подвергнется другой. Похолодев от страха и ужаса, Феспесий не осмелился даже вступить и попросить за своего отца, но устремившись и вернувшись на свой путь, он больше не видел своего доброжелательного проводника, прежде повсюду ему сопутствовавшего: вместо этого Феспесий лицезрел души других в чудовищном обличье, которые ему мешали удалиться прочь, как если бы стало необходимым, дабы он познал все, что творилось в этом месте, где увидел заведомо виновных и наказанных людей (понесших наказание еще при жизни — прим. пер.), хотя они страдали намного меньше. Он обратил внимание на их ничтожество и неистовство страстей, их обуревавших. Что же касается тех, кто пребывал в пороке, пользуясь под маской ложной добродетели славой и подлинным почтением, то они получили для себя управляющих возмездия, вынуждавших их, вращая, выставлять наружу свои души. Они являли собой подобие морской рыбы, называемой *сколопендрой*, которая, говорят, крутится таким же образом, чтобы освободиться от заглоченного крючка. Других терзали и разоблачали те же самые исполнители, раскрывая и делая заметным подлый порок, развративший их души в своей чистой и возвышенной сущности (59). Феспесий рассказал, что видел иных связанных и переплетенных между собой по двое, трое или больше, будто яростно пожирающие друг друга змеи, в напоминание о своих преступлениях и вредоносных страстях, которые вскормили в своих сердцах. Неподалеку отсюда находились три водоема: один был полон кипящего золота, другой — свинца холоднее, чем лед, и третий — едкого железа. Некоторые демоны, обслуживающие эти озера, имели инструменты и с их помощью хватали виновных и бросали грешников в озера или вытаскивали их оттуда, наподобие того, как кузнецы обращаются с металлом. Они погружали, к примеру, в кипящее золото души тех, кто в течение своей жизни предавался страсти накопительства и не пренебрегал никаким средством, чтобы обогатиться; потом, когда неистовое пламя их делало прозрачными, они гасили души в ледяном свинце, и после того, как грешники обретали в этой бане свойства льда, они их кидали в железное озеро, где виновные становились страшно черными, получая больше ломкости и жесткости, позволявшей их разбивать на куски. Так они теряли первоначальную форму, которую принимали в кипящем золоте, испытывая в различных превращениях жуткие муки (60). Но вызвали наибольшее сочувствие те, кто страдал еще ужаснее, и, мня себя уже отпущенными, внезапно вновь возвращались и приводились к наказанию: они — злоумышленники, совершившие преступления, наказание за которые возложено на их потомство. Ибо когда душа одного из их наследников приходит сюда, она привязывается всем своим гневом

к душе, сделавшей ее несчастной; она издает возгласы укора, показывая следы жестоких мучений, понесенных из-за души виновного. Тогда последняя хочет убежать и скрыться, но тщетно, поскольку палачи кидаются за ней вдогонку и возвращают к наказанию. Тогда несчастная испускает безнадежные крики, хорошо предвидя, что ей предстоит выстрадать. Феспесий добавил, что заметил толпу этих душ, объединившихся с душами их детей, напоминающую пчелиный рой или стаю летучих мышей. Души детей не оставляли и не прекращали нашептывать слова горести и гнева, вспоминая о всем том, что они вынесли за преступления своих отцов.

**Л.** Затем Феспесий наблюдал души, предназначенные к возвращению на землю для вселения в тела различных животных. Особым ремесленникам вменялось в обязанность сообщать им силой соответствующую форму. При помощи необходимых инструментов их сгибали, подрезали или даже рассекали на части, чтобы достичь нужной формы для инстинкта и повадок животного. Среди этих душ он узнал душу Нерона, которая уже выстрадала тысячу мук и в данный момент была прибита пылающими гвоздями. Ремесленник намеревался придать ей форму гадюки, детеныши которой вылупляются на свет, лишь растерзав свою мать (примечание XXX). Но неожиданно он увидел явление большого света, из которого исшел глас, произнесший: *«Обратись в иной вид более податливых животных, сделайся водной птицей, поющей на просторах болот и озер. Он уже подвергся наказанию за свои преступления, и Боги ему обязаны определенной милостью за свободу, данную греческому народу, лучшему и любимейшему у Богов среди всех народов, им подвластных»* (примечание XXXI).

**ЛІ.** До сих пор Феспесий был только зрителем, но вступив на путь возвращения, он испытал жуткий страх, когда заметил женщину изумительного сложения и красоты, сказавшую ему: *«Иди сюда, дабы тебе лучше запомнилось все увиденное здесь»*. В то же самое время она изготовилась коснуться его маленькой железной палочкой, багровеющей огнем, похожей на палочку, которой пользуются живописцы (61), но другая женщина ей в этом помешала. В тот же самый миг Феспесий ощутил себя вытолкнутым стремительным потоком воздуха, будто бы его выстрелили из сарбакана (62), и, оказавшись в своем теле, он отверз глаза, равный человеку, восставшему из могилы.

(1) Рассуждения Клеона, III, 30.

(2) Впрочем, этот факт оставался абсолютно неизвестным.

(3) Посмотрите на сей факт и на исправление, которое требует текст, примечание Вовилье (Trad. d'Amiot — Paris, Cussac, 1785, Oeuvres том. p. 4, p. 537, 538).

(4) Сей фрагмент был абсолютно необъясненным, что можно увидеть в переводе Амьо (который, тем не менее, его передает очень осмысленно). *Рейске* все раз-

яснил, заменив η ποινή на ἔπρον. Это наиболее удачная правка, пусть страдающая не меньшим возражением. Критика, как и другие знания, имеет свои вдохновения.

(5) Ἐναψαί.

(6) Ἐγυλαυτοῦσι.

(7) Ἐξάνθει.

(8) Εἶτα δεραιπευδεν παλως.

(9) Quo uno modo possunt desinant mali esse: ибо никаким иным способом они не прекратят ухудшаться, не прекратив свою жизнь (Сенека. Sen. de ira I, 35).

(10) Обратите внимание на эти стихи Пиндара и на то, как они читаются (фрагменты этого поэта в издании Гейне; Гёттинген, 1798, in-8, том III, стр. 101 № XL). По желанию можно использовать и стихотворный размер, предложенный госп. Германном.

(11) Προεξανθοῦσ.

(12) Выражение Плутарха «некоторые среди Греков» явно предполагает, что большинство народов его родины не принимали такого мудрого закона, карая почти по всей территории Греции беременных женщин, что свидетельствует еще о варварстве у этих *столь* и, быть может, *слишком* тщеславных племен.

(13) Иллирийские колонии, основанные Коринфянами, сегодня Святая Мавра, Поллина и т. д.

(14) Здесь речь идет о смерти Александра Великого, которая являлась делом рук Кассандра, чему предшествовало восстановление Фив. В древности думали, что все семейство Кассандра погибло из-за этого преступления (Юстин, XVI, 2).

(15) Δημῶεν δεομένοισ'

(16) Обыкновенная точность Плутарха, кажется, его здесь покидает. Для того чтобы сравнение ядовитых животных являлось верным, необходимо, к примеру, вместо приема раствора змеиного яда для лечения некоторых заболеваний, обязательно сделаться укушенным подобными животными.

(17) Τοῦ γένετ' ἐκ πατρος ποῦν χειρονοῦς νιός αμείνων (Илиад. XV, 613).

(18) Здесь никак речь не идет о спарже, которая вовсе не соответствует описанию, приводимому Плутархом; древние давали то же самое наименование колючему растению, приносящему добрые плоды. Теофраст говорил о нем в своей «Растительной Истории» (книга I, глава 16; и книга VI, главы 1, 3) и Анри-Этьенн его обозначал словом *asparagos*.

(19) Плутарх обвинен здесь комментаторами в маленькой шалости, и к похищению лошадей *Ифитуса* Улисс не имел никакого отношения. К счастью, *баснословная истина* значит мало.

(20) Улисс и Эскулап происходили от Автолика (Autolycus) и Флегия (Phlegyas), которые названы выше.

(21) Древние верили, и это воззрение еще не совсем угасло в наши дни (*Генний Христианства*, том IV, гл. 6), будто есть нечто зловещее в разорении гнезд нашей спутницы ласточки, замечательной птицы, которую здравомысляще связывали с покровительством более сильных существ, нежели мы, отчего ласточкины гнезда пребывали неприкосновенными.

(22) Юст Липсий в своем трактате «О Кресте» (книга XI, глава 5) не захотел останавливаться на этом древнем обычае, который христианство сделало известным всему миру.

(23) *Perfugium videbitur omnium laborum et sollicitudinum esse somnus; at ex eo ipse plurimae curae metusque nascuntur*: то есть сон, который должен быть утешительным лекарством жизни, становится ее ядом (Цицерон — Cic. de divin. II, p. 72).

(24) Это сердце сказало правду, ведь мы верим, «ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления...» («От Матфея Святое Благовествование», глава XV, стих 19). И нет ничего безумного в том, когда люди бьют себя в грудь, чтобы выразить свое раскаяние.

(25) Сам Плутарх (или кто-то другой) рассказывает в другом месте ту же самую несколько измененную историю. Он относит Лисимаху следующие слова: «О Богу! За какое ничтожное удовольствие я из царя, коим являлся, превратился в раба!» (Aporphth. Reg. et Impr. edit. Steph. Tom. II, pag. 160). Возможно Лисимах не говорил ни то, ни другое. Читая древних историков никогда нельзя забывать, что они все, более или менее, поэты.

(26) *Daī poenas quisquis exspectat; quisquis autem meruit exspectat*: то есть ждать кару уже страдание, а удостоиться ей значит ее ожидать (Сенека — Sen. Ep. CV).

(27) *Tempora patimur*, как прекрасно выразился Юст Липсий (*Physiol. Stoic. dissert. XVII*).

(28) Ἐγώ καὶ διὰ Μουσαῶς

Καὶ μεταρσίος ἦξα, καὶ

Πλείστων ἀψαμένους λανῶν. κ. π. λ.

**Euripid.** Alc. V. v. 965.

(29) Феоксения.

(30) Здесь речь идет об эпидемии чумы в Афинах, описанной Фукидидом (II, 47) и затем Лукрецием согласно Фукидиду («О природе вещей» — de N. R. VI, 1130).

*Nam penilus Aegypti finibus ortus,*

*Aera permensus multum, camposque natanteis,*

*Incubuit tandem populo Pandionis.*

**Lucr.** ibid. 1141, 1142.

(31) Αἰς ἐς τὸν αὐτὸν οὐκ ἂν ἐμβαίης (*Heracl. aud Plat. in Cratylo*. Opp. tom III, edit. Dip. p. 263, 269). Кажется, что этот Кратил одно лицо с тем, кто дал свое имя диалогу Платона, где оказалось и следующее неточное высказывание: «Ибо нельзя войти в поток *даже один раз*». Что строго соответствует мысли Гераклита (*Arist. Metaph.* III, 5).

(32) Любопытный фрагмент Платона, позволивший думать, что люди, приставленные к этим садам владели секретом выращивать искусственную и поистине чудесную растительность, способную в течение восьми дней достигать совершенной зрелости и приносить *самые дорогостоящие сельскохозяйственные плоды* (Plat. in Phed. Opp., t. X, p. 385).

(33) Plato, de leg. XII, Opp. tom, IX, edit. Vipont pag. 212, 213. *Quem pulamus periisse proemissus est* (Sen. Ep. mor. CH).

(34) «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной» («Послание к Ефессянам Святого Апостола Павла», Глава VI, стих 12).

(35) «*Души усопших обладают определенной силой, благодаря которой они всегда проявляют интерес к тому, что происходит в мире; это достоверно, пусть покаместельство и требует долгих рассуждений; но необходимо верить, что вещи, касающиеся веры законодателей и древних преданий, по крайней мере, не могли утратить здравого смысла*» (Платон — Plat. de Leg. IX, tom. IX, pag. 150). Платон добавляет: «*Ведь опекуны прежде всего боятся богов, а затем уже души родителей! Сирота никак не должен бояться того, кто уверует в эти истины*» (ib. p. 151 «Законодатели, слушайте лучше»).

(36) Здесь в тексте читалось: Ουδεις αν ΑΓΑΙΕΙΣΕΙΕΝ κ. т. л. Что не сумели объяснить грамматически. Я в долгу перед учтивой обязательностью господина Кёлера (Koehler), государственного советника, библиотекаря S. M. I. и директора императорского отделения (cabinet) древностей в Санкт-Петербурге, сообщившего очень удачную поправку, сделанную господином *Корай* (*Corai*), который предупредил в своих примечаниях к Гелиодору (с. 48), что нужно читать: Ουδεις αν ΑΝΑΠΕΙΣΕΙΕΝ. Это не вызывает затруднений. Смысл, впрочем, будучи легко угадываем, в моем переводе дан заранее.

(37) Plat. de Rep. Opp. tom. VII, pag. 22.

(38) Συν Θεω. Plat. de Leg. VI. Opp. t. VIII, p. 298, 299.

(39) Ουδεν εθυλον ηθος ουδε σοφια. Id. ibid. de Leg. VI. Opp. tom VIII, pag. 299.

(40) *Occasiones hominem fragilem non faciunt, sed qualis sit ostendunt.* Случай никогда не делает человека слабым, он наблюдает каков он есть со стороны (De Imit. c. I. 16, 4).

(41) «*Да будет воспомянуто пред Господом беззаконие отцов его, и грех матери его да не изгладится*» (Псалтирь, Псалом 108, стих 14).

(42) ' Αναδυσση (της λυχης) ωπληρ ακ Βυτου.

(43) Смотрите в тексте конец XXXVI главы.

(44) Οχι πραζει βελτιον οταν αποθωωη.

(45) Говорит ли здесь Плутарх как убежденный человек или хочет придать своему рассказу более правдоподобный вид? Об этом говорить сложно. Отмечу только: одно дело осознавать правдивость этой сказки, совсем другое — что Плутарх в нее верил. В конце «*Горгия*» Платон в похожем случае выражается почти как и Плутарх: «*Быть может, вы полагаете, что это сказка, но для меня сие рассказ, и я вам привожу эти вещи как подлинные*» (Opp. tom. IV, p. 164).

(46) Я принимаю разночтение Рункениуса (Ruhnkenius), читавшего οκουρον вместо ακουριον (Myth. p. 89). Нельзя, тем не менее, совсем отбрасывать и общепринятую версию: она может обозначать, что душевная или ощущающая душа пребывала в теле как якорь, который другая тянула, чтобы возвратить.

(47) Плутарх сказал в другом месте («*Об Исиде и Озирисе*» — *de Is. et Osir.* XLIV), «что после окончательного уничтожения злого начала, люди будут очень счастливыми: они перестанут нуждаться в пище и не обронят больше тени». В буквальном смысле речь здесь идет о *нашем теле славы*. И действительно: «*Сеется тело душевное (ψυχικον), восстает тело духовное (πνευματικον). Есть тело душевное, есть тело и духовное*» («1-е Коринфянам Послание Святого Апостола Павла», глава XV, стих 44). Исходя из гипотезы, которую мы находим в другом месте рассказа Феспесия, разумная душа, случайно оставившая тело до того, как быть окончательно разделенной с ним смертью, совсем не освобождается от своей грубой оболочки и, следовательно, не является целиком прозрачной, на что

необходимо особо обратить внимание; в противном случае, вместо заблуждения или парадокса, здесь окажется противоречие, которого нет.

(48) Здесь текст не состоял бы переведенным беспорочно и точно. К счастью, его смутность не играет здесь никакого значения.

(49) *Неизбежная.*

(50) *Кара, Наказание.*

(51) *Правосудие.*

(52) *Ярость, Возмущенная.*

(53) Есть плохая книга, озаглавленная «*Христианство, столь же древнее, как и мир*». Можно сочинить и превосходную книгу под тем же самым названием.

(54) Этот фрагмент, а равно и другой, прочитанный выше (глава XLIV), предполагают схожие идеи, коими мы обладаем, об излучении и слишком быстром движении света.

(55) Очень вероятно, что Плутарх, посвященный в мистерии Вакха, здесь критикует их в прикровенных словах, сожалея о своих заблуждениях.

(56) Всякий добропорядочный эллинист, который будет размышлять над текстом этой крайне сложной и (быть может, намеренно) запутанной главы, найдет, осмелюсь уповать, то же, что и я отразил в весьма правдоподобном виде.

(57) Какой дух? Вопрос здесь скорее только о трех духах, перемешивавших воды. Если бы Плутарх захотел сказать о *Проводнике* или о *Психопомпе*, ему необходимо было это объяснить.

(58) Речь идет о Веспасиане, умершем, в действительности, удостоившись этого, *sicca morte*.

(59) Не будем спрашивать Плутарха, как можно сдирать кожу с души. Ибо не стоит придирается к морали подобного рода. Заметим только по случаю: во всем том, что нам рассказывает античность об обитателях иного мира, она предполагает, что они существуют, но не обладают телами.

(60) Позволительно думать, что Данте позаимствовал из этой главы основную идею своего Ада.

(61) Судя по всему, речь идет о металлической палочке, использовавшейся в живописи восковыми красками для смешивания и сглаживания воска. Это обстоятельство, которому невозможно придать скрытый смысл, казалось бы свидетельствует о том, что Плутарх донес искренне эту быль, как он о ней думал, или как ему ее рассказали.

(62) Французский военный, отдельно исследовавший баллистику древних, утверждал, что под «*Сарбаканом* (Σαρβακ) *нужно было понимать пневматический боевой механизм, служивший, как делается еще и сегодня, для метания снаряда посредством сжатого воздуха*» (смотрите новое и приведенное выше издание Амю — tom. IV, p. 491). Я не могу привести никакой цитаты в поддержку этого объяснения, но оно представляется весьма допустимым само по себе, ибо многим обязательно профессионалу-артиллеристу, предпринявшему все необходимые разыскания.

## ПРИМЕЧАНИЯ

### Примечание I

Это сравнение опасных рассуждений с копьями, брошенными на войне, чрезвычайно нравилось древним, часто его использовавшим. Господин Виттенбах приводит многие примеры этого в издании, в котором поместил и данный трактат Плутарха, послуживший прелюдией блестящего труда, посвященного всем произведениям выдающегося греческого писателя (*Ludg. Batav. 1772, in-8, in Animadv.*, p. 5, et seq.). Он отмечает, что латинское слово *dicere* есть лишь измененный греческий глагол Δικειν, означающий бросать. Слово *копье* (фр. *trait*) представляет в нашем языке схожий пример аналогии, о которой идет речь.

### Примечание II

Не следует слишком восхвалять этого сдержанного мудреца, ибо стоит говорить лишь о рассудке, идущем в одиночестве. Вот великое проклятие, тяготеющее над философией и делающее ее неспособной управлять людьми. В действительности, всякий разум, чувствуя совершенно, что не имеет права повелевать другим, обязан, если он имеет совесть, признавать свою слабость. Отсюда абсолютная необходимость догматов, которую развил Сенека (Ep. 95) с воистину восхитительным превосходством логики. Отсюда опасность единственной философии, непогрешимое следствие которой есть собирание сомнений, распад национального единства, угасание общественного смысла, производящего разлад в умах. *Sine decretis omnia in animo natant. Necessaria ergo sunt decreta quae dant animis inflexible iudicium* (Sen. ibid.). Следовательно, необходим авторитет, оспаривать который никто не имел бы права: *Jubeat, non disputet* (Id. Ep. qu.). *Рассуждать*, по словам Святого Фомы (Аквинского), *значит искать; и искать всегда, то есть не быть никогда удовлетворенным*. Есть ли горе сравнимое с тем, как работать всю жизнь во сомнение? Нельзя ли сомневаться с меньшим убытком? Согласимся с блаженным Августином, что «вера есть здоровье ума»: «*Fides est sanitas mentis*».

### Примечание III

Плутарх здесь предстает менее искушенным в обычаях и юриспруденции Римлян, что непозволительно было ожидать от автора, написавшего трактат «*О Римских Вопросах*». В Риме существовало три способа отпустить на волю раба, а именно: через *выкупную плату* (чинш, *le Cens*), по *завещанию* и при помощи *кнута*. Касаясь последнего способа, о котором вопрос, претор, упирал в голову раба кнут, называвшийся *виндикулой* (*vindicula*) (означает «присуждающая»), и говорил: «*Я объявляю этого*

*человека свободным, как свободны граждане Рима*» (\*). Обернувшись затем к ликтору, он ему повелевал: «*Возьми сей кнут и исполни свою обязанность, исходя из того, что я сказал*» (\*\*). Ликтор, взяв виндикулу из рук претора, наносил ей удар по голове раба; затем он бил его ей по руке, щеке и шее, после чего писарь вписывал имя освобожденного в реестр граждан. Эти формы устанавливались для того, чтобы сделать наглядно понятным, что данный человек, являясь еще недавно субъектом позорных рабских наказаний, теперь навсегда от них освобожден. Общественная власть его била, дабы провозгласить, что он не будет бит больше никогда. Разумеется, эти действия производились лишь чисто формально, и раба едва касались кнутом, отчего Плутарх подумал, будто кнут на раба возлагали, а не били им; и Амио вторил тому же самому мнению: «*Бросался маленький кнут*». Но несомненный смысл этой формальности был весьма обоснован и разумен: еще и в наши дни о нем напоминает великий духовник Рима (Папа Римский — прим. пер.), касающийся христианской *виндикулой* кающегося грешника, дабы объявить ему, что он перестал быть рабом (*Venumdatus sub peccato*. Rom. VII, 14) и его имя вписывается верховным понтификом в число *свободных людей*, ибо *свободен лишь праведник*, как говорили еще прежде Евангелия стоики.

(\*) *Dico eum liberum esse more Quirilium.*

(\*\*) *Secundum tuam causam, siculi dixi, ecce tibi vindicta.*

### Примечание IV

Судя по всему Плутарх не смог точнее изучить древнее законодательство, касающееся завещаний у Римлян, кроме завещания об освобождении рабов или *манумиссиях*. Имелось еще три вида завещаний; среди них первый совершался в собрании комициев (*collatis comitiis*); второй — в боевых порядках во время битвы (*in procinetu*); и третий, о чем здесь речь, являл собой фиктивную продажу посредством *монеты и весов* (*per oes et libram*). Завещатель предстал с пятью свидетелями и человеком, коего он желал сделать наследником, перед общественным весовщиком, называвшемся *libripens*. Наследник, державший медную монету в руке, говорил: «*Я объявляю, что семейство этого человека, которое я приобрел с этой монетой и этими весами, принадлежит мне по праву Римлян*» (\*). Затем он ударял по весам с медной монетой, чтобы привлечь внимание свидетелей, и передавал ее завещателю, подтверждавшему купчую по приемлемой фиктивной цене. Однако эта формальность не давала ничего сразу же, предоставляя лишь право наследования после смерти завещателя. Она напоминает древность, предшествовавшую, собственно, денежному обращению, и не является более безрассудной, чем любая другая, хотя и не согласовывается с нашими нынешними понятиями; но дабы лучше ее уразуметь, необходимо знать, что завещание в уме Римлян казалось определенным исключением из

законов легитимного наследования, и посему они полагали, что назначение наследника должно было основываться на власти тех же самых законов. Что и предлагалось народу, собранному в комиции, с полным соблюдением форм законности: «*Желайте и повелевайте, Римляне*» и т. д. Но торжественность комиций, являясь слишком стеснительной, отсылала к иной более быстрой процедуре: ей, заключающейся в мнимой продаже, о чем мог весьма ошибаться Плутарх, и мечтали Римляне заменить комиции. Во-первых, вправде, как мне кажется, упрекнуть Плутарха в том, что он дал в качестве судебной практики своего времени прежний обычай, принадлежавший тогда уже только истории древнего Рима. Во-вторых, он говорит: «*Один является наследником, а другой приобретает имущество*». Это довольно противоречиво, и нужно было сказать, чтобы выразиться яснее, что хорош тот покупатель, который являлся еще и *наследником* в законном смысле слова, пусть даже имущество и перешло к другому. Наконец он полагает, что покупатель никогда не удерживал имущество, всегда достававшееся третьему, и это мне кажется совершенно невероятным, поскольку всякое римское семейство обладало домашним культом и церемониями, имевшими огромное значение в глазах очень религиозного народа (так было и у всех известных наций), а посему для людей являлось позором умереть без наследника, иными словами, без представителя, способного наследовать все права умершего, в том числе и по отношению к домашней религии, указанной мной. Итак, религия принадлежала семье, и требовалось находиться в семье, чтобы умело следовать религиозным обрядам. По этой же самой причине нужно было избрать *агната* (*agnat*, наследник крови и имени), становившегося покупателем; и тот, с кем он договаривался заранее, восстанавливал имущество тому, кого завещатель избирал своим действительным наследником. Вот почему мнимый покупатель никогда не покупал *имущества*, ибо *семейство* считалось выше. Если наследник на самом деле принадлежал к *агнации* (законному родству по мужской линии — прим. пер.), то я убежден, что он в одном лице являлся и покупателем, будучи наследником по праву: присутствие посредника здесь становилось излишним. Также могло проходить и посредничество фиктивного покупателя для передачи наследства иностранному наследнику в семействе завещателя, но и на него затем могло распространиться некое единообразие, свойственное всем людям, но особенно примечательное у народов, отличающихся здравым смыслом. Хотя я и не знал ни одного римского закона, ясно говорящего на сей счет, но думаю, что всякий человек, призванный проникнуть в дух этих законов, найдет допустимое объяснение. Кем являлся по сути фиктивный покупатель в случае предполагаемого восстановления имущества? *Фидуциарным* (денежным — прим. пер.) *наследником* — и не более. И нет ничего естественнее этой идеи фидуциарного наследника, ибо к ней нельзя прибегнуть без здравого смысла.

Но не задерживая внимание на данном частном примере и всем прочем подобного рода, скорее отметим *формулистический* гений Римлян, ко- ему никогда не имелось равных. Никакая нация во вселенной не могла так хорошо уничтожить человека, чтобы создать из него гражданина. Все акты общественного права, все соглашения, все распоряжения по причине смерти, все законные прошения, все обвинения и т. д. и т. п., были подчинены *формулам* и, так сказать, ограничены *обязательными* словами, называвшимися иногда у латинских писателей именем *сартен*, исходя из законов, предписывавших форму, без которой акт прекращал быть *римским*, то есть *законным*. Преступление становилось преступлением лишь после того, как было объявлено таковым формулой. Прежде чем восхищаться, мы смеемся сегодня, когда читаем, что во времена Цицерона не могло быть наказано одно выдающееся мошенничество, *поскольку Аквиллий, коллега и друг великого оратора, никак еще не изложил свою формулу подлога* (\*\*). На сей счет можно рассказывать весьма любопытные вещи. Я же ограничусь одной. Тот из императоров, кто по-настоящему разрушил Римскую Империю, заменив ее, возможно не желая этого сам, уже подготовленной Диоклетианом азиатской империей, не меняющейся впредь, являлся поистине человеком, уничтожившим *формулы*, ибо закон под названием *de formulis tollendis*, который мы читаем в кодификации Юстиниана, принадлежит самому Константину.

(\*) *Hujus ego familiam quae mihi emptā est hoc oere aeneaque libra fure Quiriliū meam esse aio.*

(\*\*) *Sed quid faceres? Nondum enim Aquilius collega et familiaris meus protuberat de dīlo malo formulas* (Cic. de Offic. III. 14).

#### Примечание V

**КОСМОС.** *Мир, порядок и красота; ибо всякий порядок есть красота: Κοσμος γαρ η ταξις* (Eusth. ad Illiad. 1, 16). Гомер называл царей *распорядителями народов* (дословно — мироустроителями, *mondistes* (Ibid.)). Очень верное выражение, ставшее многое время спустя еще более истинным, когда блестящее чутье греческих философов назвало мир **ПОРЯДКОМ**: в действительности общество, являющееся *миром*, должно быть и *упорядочено* как *мир*. Латиняне обрели ту же самую идею и, хочу заметить, даже идею о высшем порядке, объединенную с мыслью о *вселенной* (*универсуме* — единстве в многообразии), которую они выразили своим словом *tundus*. И это слово, будучи исконным латинским, служит доказательством того, что здесь они ничем не обязаны Грекам, ибо когда одна нация заимствует идеи у другой, она приносит вместе с ними их имена. Таким образом, допустив подобное, Латиняне могли бы говорить COSMUS. Что же касается нас, бедной варварской расы, мы все заимствуем, не понимая того.

## Примечание VI

К несчастью, есть очень большие сомнения относительно сего благого деяния Гелона; представляется доказанным, что Карфагеняне сохраняли их гнусный обычай вплоть до поры Агафокла (СХV. Олимп.). Смотрите примечание господина Виттенбаха (*Anim. pag. 37*). Плутарх, цитируемый ученым издателем, в патетических тонах изобразил эти ужасные жертвоприношения. «Карфагеняне, — пишет он, — приносили своих собственных детей в жертву Сатурну, и богатые, которые их не имели вовсе, приобретали детей у бедных, чтобы их зарезать как ягнят или цыплят. Мать была там с иссохшими глазами и удушьем от рыданий из страха потерять сразу честь и своего сына (\*); флейты и барабаны, собранные пред изваянием Бога, звучали в храме, заглушая душераздирающие крики жертв» (*De superst.*). Поместим здесь важное замечание. Человеческие жертвоприношения, одна мысль о которых заставляет нас бледнеть, тем не менее, естественны для *естественного* человека. Мы их находим в Египте, Индостане, Риме, Карфагене, Греции, Перу, Мексике, пустынях Южной Америки; наши свирепые предки проливали человеческую кровь своему Богу *Теутатесу*; и в VIII столетии нашей эры в Германии видели еще курение над алтарями *Ирминсула*, когда, наконец, они не были сокрушены божественно направляемой десницей бессмертного Карла Великого, слава о котором не смогла возвеличиться с тех пор как его постигла безумная критика восемнадцатого века. Если изъять одну божественно сохраненную на земном шаре точку с ее несчастными исключениями, сотворенными жестокостью народа, *всегда и повсюду* человек приносил в жертву человека; но *всегда и повсюду* с момента, когда дикорастущее человеческое древо получало божественную прививку, оно пыталось избежать своей врожденной дикости.

*Miraturque novas frondes et non sua poma.*

(\*) Читатели, обратившиеся к тексту хорошо почувствуют, почему я отстранился от Амико и латинских переводчиков. Я не могу поступиться очевидностью или тем, что за таковую считаю, ради высокомерного мнения, будто я их ловко использовал. Но я отнюдь не должен вдаваться здесь в рассуждение. Замечу только, что в собрании лакедемонских апофтегм, можно прочесть (глава LIII, Ликург): *Τους δε αγαπους... Τις εστερησε*. Как читается и здесь: *Τησ τις στερεσθα*. Это то же самое выражение, использованное в смысле, который я ему придал. Умозаключение, на мой взгляд, совершенно согласуется с грамматической точностью.

## Примечание VII

Древние всегда противопоставляли законы государственной власти, и они были правы. Тацит высказывался на сей счет: «Некоторые народы, раздосадованные своими царями, предпочитали законы» (\*) (Апп. III. 26). И в самом деле, повсюду, где человек ограничивается на себе самом,

альтернатива неизбежна. Монархия, проистекающая от правления законов и правления одного человека, соединенных обоюдно более или менее совершенным способом, является произведением христианства и никогда не окажется вне его господства. Нужно отметить это выражение Плутарха: «Даны законы». И не прибавлять к нему «и свобода», как это сделал Амико.

(\*) *Quidam... postquam regum pertoesum, leges maluerunt* (Тас. I. v.).

## Примечание VIII

Корнелий Непот оправдывает Кимона в этом преступлении. Он отмечает, что, женившись на своей сестре Эпинике, сей знаменитый Афинянин мог повиноваться любви, повинуюсь и законам своей страны (*In Cim. V.*). Никто в действительности не знает, что в Афинах дозволялось жениться на своей сводной сестре по отцу или единокровной сестре, хотя и воспрещалось жениться на сводной сестре по матери, называвшейся *единоутробной*. Итак, Эпиника приходилась родной сестрой Кимона только по отцу.

Греки, между прочим, рассматривали братство главным образом по общей матери; вот почему в их языке слово *брат* (*αδελφος*) выражает в своей корневой основе общность по матери, и это отнюдь ненапрасное замечание. Гомер, желая привести (*Iliad. XXIV, 47*) более близкое и более дорогое для человеческого сердца родство, называет *брата по матери* (омогастриона) *и сына*. Латинские переводчики, истолковавшие греческое *κασιγνητον ομογαστριον* (*Ibid.*) как *единоутробный брат*, могут легко ввести в заблуждение читателя, которому об этом и невдомек. Гомер, как видно, хочет показать в этом месте *настоящего брата* или *совсем брата*, который имеет ту же самую мать, но не того, кто имеет только общую мать (понятие выраженное в нашем языке словом *единоутробный*). Значит, Битавбий мог бы перевести просто *брат*. Если ему хотелось бы полностью сохранить эпитет, то стоило бы сказать *родной брат*.

## Примечание IX

Во время, когда нравы Афинян сохраняли еще древнюю строгость, Фемистокл однажды вздумал запрячь, вместо лошадей, четырех куртизанок в квадригу и прокатиться так по общественной площади, полной народа. Афиней сохранил нам имена этих четырех бесстыдниц. Их звали: *Ламис*, *Сейона*, *Сатира* и *Нанниона* (Ath. lib. XII, pag. 531; et lib. XIII. pag. 576, цитированные господином Виттенбахом. *Animadv. pag. 38*).

## Примечание X

Древность подтверждает насчастья, постигшие расхитителей Дельфийского храма (смотрите примечание Виттенбаха, цитирующего авторитетные источники. *Anim. pag. 47*). Можно посмотреть размышления



благоразумного Роллена о физических феноменах, помешавших разграблению подобного рода, когда Галлы приблизились к храму в Дельфах. В общем достоверно, что святотатства всегда наказывались, и нет ничего более праведного, ведь грабеж или осквернение даже языческого храма предполагает презрение по отношению к Богу (*каким бы он не был*) там, где ему поклоняются; и это презрение является преступлением, по крайней мере, если оно не имело целью восстановление законного культа, который исключал бы сам всякий вид преступлений и неистовств. *Наказание святотатств во все времена и повсеместно* снабдило англичанина Спелмана темой для интересной книги, вкратце изложенной по-французски аббатом Фелье (Spelman par Felier. Bruxelles, 1787; Liege, 1789; in-8).

#### Примечание XI

Господин Виттенбах (Anim. p. 49) замечает, что этот стих вовсе не принадлежит Гесиоду. Читая старые издания, можно встретить много ошибок подобного рода, в которых мы не имеем право их упрекать. Древним не хватало нашего книгопечатания, наших больших и многочисленных библиотек, наших словарей и наших тематических таблиц и т. д. Зачастую они были вынуждены цитировать по памяти, и мы должны восхищаться изумительным навыком, обретенным ими из этого свойства, вместо того чтобы проклинать ошибки, от которых оно не могло их предохранить.

#### Примечание XII

Это сравнение предполагает, что во времена Плутарха злоумышленников зачастую приговаривали испытывать реально на театральной сцене казни и законные наказания. В этом нет ничего того, что могло нас столь удивлять, ведь автор не говорит ничего несообразного для Рима, где нравы были намного более свирепыми, чем в Греции. Не научался ли гладиатор у *Царственного Народа* умирать благопристойно? Не было ли там правил перерезать горло и как это горло благодарно подставлять? Девушка-патрицианка, загнув четыре пальца и повернув вытянутый большой палец вниз, не кричала ли в тишине: «Зарезать этого неумелого!»? Не было ли это убийство ради убийства, упраздняющее всякий случай, всякую защиту и всякую отсрочку? И не зазывался ли народ в буквальном смысле *лицезреть убийство людей, дабы убить время* (NE NIHIL AGERETUR — Senec. ep. VI), и, убивая их, в том же упражняться? И эти несчастные, маршируя по арене перед нетерпеливыми зрителями, не говорили ли им с восхитительной вежливостью: «Идущие на смерть вас приветствуют» (\*)? Для разнообразия ритуального ужина не доводилось ли людям с изящными манерами приглашать, вместо музыкантов и танцовщиц, несколько пар гладиаторов, затем умиравших на столе и орошавших его своей кровью?! (Смотрите Юста Липсия — *de Magnit. Rom.*). Почему бы

некоторым из этих людей, предназначенных для *услаждения* публики, не появляться бы время от времени для *вдохновения* последнего акта *орхесы* или трагедии (\*\*)?

Хотите ли знать, какой власти, наконец, уступили эти *прелестные* зрелища, сопротивлявшиеся вплоть до 1 января 404 года всем эдиктам Константина, Констанция, Юлиана и Феодосия? Читайте житие Святого Альмака (Almaque) (Vies de Saints, etc, trad. de l'anglais d'Alban Buttler, tom I., pag. 30).

(\*) «*Morituri vos salutant*».

(\*\*) Читатели с удовольствием прочтут заметку Вовилье, касающуюся того же места у Плутарха, которую я обнаружил после того как завершил уже свой труд (Edit. de Cussac, tom XVI, IV des OEuvres morales, pag. 486 — Издание Кюссака «Нравственных произведений» Плутарха). Я имел удовольствие почувствовать себя настолько согласным с ним.

#### Примечание XIII

Если хорошо следовать умозаключению Плутарха, обратив внимание на манеру, при помощи которой он в этой главе связывает первую часть своего рассуждения со второй посредством частицы, имеющей значение «*так как*», нельзя усомниться в том, что речь здесь идет не о реальных наказаниях.

Если принять противоположное мнение, то покажется странным эпитет, даваемый здесь Плутархом комедийным актерам в целом (Κακοῦργος), который Амио слабо переводит как «ничего не стоящие люди», ведь это могло бы прослыть грубым для определенных лиц. Но древние, за исключением одних Афинян (и то не всех), считали именно так, поскольку оказывали мало милости актерскому поприщу. *Это презренная профессия*, как говорит Цицерон (de Orat.). Римская юриспруденция в лицедействе усматривала законные причины для лишения наследства: SI MIMOS SEQUITUR. Я не завершил бы здесь, если бы захотел собрать выдающихся лиц всякого призвания, которые во все столетия клеймили театр и людей, посвятивших себя ему. Ограничусь, заметив только, что значимость, придаваемая этому классу людей и театру в целом, а в особенности лирическому театру, является безошибочным показателем морального вырождения наций. Этот термометр никогда не ошибался. И если какой-нибудь актер, дабы удивить сцену, возвышается над своей профессией благодаря оказанным добродетелям, нужно весьма остерегаться его обескураживать. Адресуем ему, напротив, комплимент, ведь даже если льстец Росций и достигнет Цицерона, то должно пройти две тысячи лет, которые, увы, ему не дано прожить: «*Ваши таланты делают вас настолько достойным быть актером, насколько ваш характер счел бы вас достойным им не быть*». Но не занимаясь больше внешними проявлениями, отметим, что всякая власть сделает благо, допустив приемлемое для народного

развлечения, когда станет рассуждать, согласуясь с изречениями одного образованного китайца: «Зрелища являются огненными видами умственного ухищрения, которые можно созерцать лишь в ночи праздности. Они ухудшают и разоблачают тех, кто их исполняет, они утомляют чуткий взор мудреца, опасно увлекают праздные души, подвергают опасности женщин и детей, которые их смотрят слишком близко, распространяют больше дыма и отвратительного запаха, нежели света, оставляя только опасное ослепление и вызывая зачастую страшные пожары» (Воспоминания о Китайцах — Mem. concernant les Chinois, par les mission. de Pekin, in-4, tom. VIII, pag. 227).

#### Примечание XIV

*Путь правый или праведности путь,  
Зло величайшее в людской несправедливости сокрыто.*  
(Амио)

Греческое слово *Hybris* (*Гибрис*), не имеющее никакого аналога в нашем языке, заключает в себе три понятия: *оскорбление, насилие и аморальность*; это слово лишь очень слабо можно передать словом *несправедливость*. Впрочем, несмотря на двойное значение слова *dike* (*дике*), которое может одинаково обозначать как *правосудие*, так и *наказание* (ибо наказание и есть правосудие), осмелюсь полагать, что нет никаких сомнений в предпочтительности версии Ксиландра (*Xylandre*), воспринятой Виттенбахом: *Perge ad supplicium! valde est damnosa libido*. Амио совсем неудачлив в своем первом переводе этого фрагмента (Жизнь Кимона, глава XI), где рассказана та же самая история.

#### Примечание XV

**Plat.** de leg. X. Opp. tom. IX. pag. 108. ed. Bip. *Si ascendere in coelum, tu illie es; si descendere in infernum, ades* (Ps. CXXXVIII 8 — «Взойду ли на небо — Ты там; сойду ли в преисподнюю — и там Ты»; Псалтирь, Псалом 138, стих 8). В другом месте говорится, что «если Бог не руководил в основании города, то этому городу не избежать больших несчастий». Что напоминает еще другой фрагмент из псалмов: *Nisi Dominus oedificaverit domum, etc. Nisi Dominus custodierit civitatem, etc* (Ps. CXXXVI. 1, 2. — «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его; если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж»; Псалтирь, Псалом 126, «Песнь восхождения. Соломона», стих 1; Plat., ibid. de leg. IV. Opp. tom. VIII, pag. 181). Отсюда заключали, что Платон читал наши священные книги. Можно было составить подобное суждение и о Плутархе, размышляя над этим фрагментом: «Куда ты убежишь? Где найдешь землю или море без Бога? О несчастный! В какой бездне ты укроешься?.. (*Plut. de superst.* Edit. Steph. Paris, 1624; in-fol., p. 166. D.) Данные утверждения имеют значимость и для других.

#### Примечание XVI

Видно, что под словом *Ад* («АНС») Платон понимает только место искупительных страданий (*lugentes campos*); называя затем *еще более ужасным местом* (*αἰριότερον*) собственно нашу Преисподнюю, он устанавливает различие временных и вечных мук в других фрагментах своих произведений, а особенно в своей «Республике» (lib. X, tom VII, pag. 325) и «Горгии». Пусть самая отдаленная древность одинаково верила и в *Ад*, и в *Чистилище*, но эти два понятия не являлись еще ни общими, ни догматическими; они могли быть ясно различаемы только благодаря двум противоположным и взаимоисключающим словам. Порой противопоставление Гадеса и Тартара кажется бесспорным. Но в иных фрагментах своих произведений Платон их смешивает, полагая в Тартаре и временные, и вечные мучения (Ibid. in Gorg. p. 170). Эти расхождения, как очевидно, не касаются сути доктрины. Впрочем, если Платон и угрожает злодею в столь великолепных выражениях, то он не менее восхитителен, когда утешает праведного. «*Никогда*, — говорит он, — *Боги не теряют из вида того, кто всеми своими силами обращается к желанию стать праведным и сделаться посредством добродетели подобным Богу, насколько это возможно человеку. Вполне естественно, что Бог непрестанно занимается тем, кто ему уподобляется. Если вы увидите праведное существо в бедности, в болезни или в любом другом состоянии, что нам кажется злом, будьте уверены: они завершатся в его пользу либо в течение его жизни, либо после его смерти*» (Plat. de Leg. X, tom. VII, p. 302). Как будто читаем Святого Августина или Бурдалу. И хорошенько рассмотрим это выражение: «*Никогда Боги не теряют из вида того, кто старается стать подобным Богу*» (\*) Платон высказался так намеренно? Или он был только послушен движению *изначально христианской души*? — Как хотите.

(\*) Ου γαρ δε υπο γε ΘΕΩΝ ποτε αμελειται ος αν προθυμεισθαι εθελη... εις οσον δυνατον ανθρωπω, ομοιουσθαι ΘΕΩ. Plat. ibid.

#### Примечание XVII

ΜΕΔΔΕΙΤΟ ΘΕΙΟΝ 'ΕΣΤΙ ΤΟΙΟΥΤΟΝ ΦΥΣΕΙ (*Eurip. Orest. V. 420*). Я признаюсь в бессилии, когда берусь переводить эти стихи в удобоваримой форме. Нужно, чтобы благопристойность позволила сказать: «*Так устроен Бог*». Старательный Амио перевел двумя стихами (или в две строки): «*День ото дня пространство различая, таков прием обычный Божества*» (Ibid. de sera nit. vind. c. 2). Святой Иоанн Златоуст сказал в том же самом смысле: «*Бог, который творит все, не делает ничего внезапно*» (Serm. IV. in Epist. ad Colos. ad v. 25). И Фенелон выделит наставление, которое дает нам Святое Писание, когда научает, что Бог исполнил труд творения в шесть дней (OEuvres spirit. tom. I. Lettre sur l'Infini, quest. IIe — «Духовные произведения», том I, «Письмо о Бес-

конечности», вопрос II-й): «Но отчего эта неспешность? Почему им не сотворен мир как и свет? — Почему? — Потому что он — Бог.

Он не спешит в своем труде и такова его природа».

#### Примечание XVIII

Виттенбах посчитал необходимым отметить здесь, что всякий вывод Плутарха в этой главе несет в себе больше умозрительности, нежели точности (*multa hic acutius quam vege dicta sunt*). «Ибо, — говорит он, — этот вывод сделан только исходя из людского воззрения, но его нельзя применить к Богу, которому известны поступки каждого из людей» (*Ibid. in anim. pag. 75*). Я осмелюсь поверить, что сей искусный человек очевидно заблуждается, когда сам произносит слово, заставляющее его признавать, что вывод Плутарха точен в людском воззрении, а ведь именно о воззрении людей здесь идет речь. Несомненно Бог, который ведает поступки всех людей не окажется в затруднении, воздав каждому по его делам; но несомненно и то, что Бог, будучи творцом общества, также является и творцом той морали, которой следуют государственные объединения. Итак, если город виновен как город, то нужно чтобы он был наказан как город; в противном случае люди скажут: «Этот город, совершивший столько злодеяний, тем не менее, процветает» и т. д. Священное Писание наполняют реальные угрозы народам и даже осуществленные кары над ними как над народами. Не нашлось и нескольких честных человек в Тире, и все его жители одинаково были виновны, когда Бог сказал этому городу: «И разграбят богатство твое, и расхитят товары твои, и разрушат стены твои, и разобьют красные дома твои, и камни твои, и деревья твои, и землю твою бросят в воду... И сделаю тебя голою скалою, будешь местом для растопки сетей; не будешь вновь построен: ибо Я, Господь, сказал это, говорит Господь Бог» («Книга Пророка Иезекииля», Глава 26, стих 12, 14 и сл.). И когда спустя двадцать три столетия миссионер, сидевший на берегу, где находился Тир, впал в глубокое раздумье, то припомнил слова Пророка, увидев рыбака, расстилавшего сети на скульптурных обломках, наполовину погруженных в воду. Не испытал ли он тогда то же самое чувство, какое ощутил в своем кабинете, случайно размышляя о карах, которые могли некогда пасть на отдельных царей или правителей Тира? Не мудрствуйте никогда ни против здравого смысла, ни против Библии (*Гюэ с редким изяществом описал эту сцену с миссионером где-то в своих евангельских свидетельствах*).

#### Примечание XIX

Οη περ φυλλον γενει, τοιηδε και ανδρων  
 Φυλλα τα μεν τ'ανεμοσ χαμαδις χεει, αλλα δε θ'υλη  
 Τηλεθωσα φυει, ξαρος δ'επιγινεται ωρη (ωρη для ωρα)  
 Ὡς ανδρων γενει η μεν φυει, η δ'αποληγει.

Листьям в дубравах древесных подобны сыны человеков:  
 Ветер одни по земле развеивает, другие дубрава,  
 Вновь расцветая, рождает, и с новой весной возрастают;  
 Так человеки: сии нарождаются, те погибают

(Илиада, Песнь VI, стих 145-149, перевод Н. Гнедича)

Мы читаем в «Екклесиасте»: «Всякая плоть увядает как трава и как листья, что возрастают на деревьях зеленых. Одни рождаются, а другие умирают, и значит в сем уделе плоти и крови одни умирают, а иные рождаются» (*Eccli. XIX. 18. 19*; в русской синодальной версии «Екклесиаста» или «Проповедника» всего двенадцать глав — прим. пер.).

Автор Екклесиаста был эллинистическим иудеем, как и его внук, который перевел это произведение на греческий язык. Вполне вероятно, что трудясь над сим отрывком, Екклесиаст имел ввиду приведенные выше стихи Гомера. Святой Павел процитировал слово в слово полустиише Арата, писателя гораздо менее одаренного и менее известного, чем Гомер («Деяния Апостолов», Глава 17, стих 28). Он цитировал также Менандра и Эпименида («1-е Послание к Коринфянам Святого Апостола Павла», Глава 15, стих 53; и «Послание к Тимофею Святого Апостола Павла», Глава 1, стих 12).

#### Примечание XX

«Это весьма слабый довод, — говорит здесь Виттенбах, — к моему великому сожалению, целиком основанный на человеческом суеверии; или еще печальнее — полностью предназначенный для вскармливания человеческого суеверия, ибо латинское изречение переводится именно так (\*)». И он приводит Цицерона, которого наравне с другими цитировал в данном умопостроении (*de Amic. IV*). Можно отметить здесь очередной пример того маленького лукавства, о котором я говорил в предисловии к этому сочинению. Чтобы предаться более красивой игре (упразднить непосредственную идею, заключающую в себе силу аргумента) он намеренно допускает, что догмат о бессмертии души сводится к почестям, воздаваемым умершим. Но не в этом суть: эти воздаваемые почести являются только доказательством всемирного верования, и это всемирное верование дано в свою очередь как одно из многочисленных доказательств догмата. *Majores nostri mortuis tam religiosa jura non tribuisset, si nihil ad illos pertinere arbitarentur* (Cic. *ibid.*). Итак, если будешь подвергать нападкам аргумент, который опирается на извечное стремление человека к вечности, ты никогда его не пошатнешь. Лживые уста могут ловко его развенчать, но мятежное сердце будет упрямо ему внимать. Сотворивший нас Бог не мог лгать разуму, вкладывая в него одновременно неодолимый и обманчивый инстинкт.

Я испытываю глубокое разочарование, закономерную скорбь, чуждую всякой страсти, когда вижу людей, даже таких достойных, которых я в определенном смысле ценю как своих учителей, вопреки всякой духовной идее и человеческому инстинкту плачевно опасаящихся самых уважаемых преданий. Я печально восклицаю: «TANTUS AMOR NIHILI!» (\*\*\*) Но мы увидим любовь в возвышенном союзе Религии и науки; они вернут нам прекрасные дни мироздания, когда всякая наука восходила к своему источнику. Мы сможем всячески приблизить эту эпоху, по крайней мере, умозаключениями, а не обещаниями.

(\*) *Levis sane est ratio, et quae ad hominum tantum valeas superstitionem* (Animadv. p. 79).

(\*\*) «Какая любовь к небытию!» (Полиньяк)

#### Примечание XXI

Анонимный французский переводчик «Книги Законов» (Amsterdam, 1769; 2 vol. in-8, tom. I, p. 373) передает следующим образом этот отрывок: «На самом деле Божество, которое руководит поначалу нашими деяниями, делает их успешными тогда, когда в каждом из наших предприятий мы воздаем ему почести, его достойные». Вот как переводят, а в особенности переводят Платона. Этот великий философ имеет двух страшных врагов: невежество и маловерие. Одно его не понимает, а другое боится его уразуметь. Впрочем, я полагаю, что выражение «в нашей наиболее сокровенной сущности» есть точный эквивалент греческого *ἐν ἀνθρώποις ἰδρυμένην*, означающего, что это начало и этот Бог пребывает, зиждится и установлен в человеке, как статуя на своем пьедестале.

#### Примечание XXII

Господин Виттенбах привлек здесь много эрудиции, чтобы установить, будто история с Феспесием является сказкой, наподобие истории *Гера* в Республике у Платона. Я склоняюсь к тому же мнению; однако было бы лучше для пушей точности привести фрагмент Плутарха и прочесть: «Я перескажу эту сказку (если это сказка)». В общем, любая древность сочиняет. Для нее самый блестящий признак гения есть ПОДЕЛКА, и нет ничего для нее выше ПОДЕЛЬЩИКА (поэта). *Труверы* Средневековья представляют собой то же самое явление, ибо всякая нация, переходя от варварства к цивилизации, повторяет собой одинаковые феномены, пусть иногда и в несколько ослабленной форме. Отсюда, к слову сказать, у древних множество произведений, написанных под мнимым именем, ведь это было поэзией для них и более ничем. Поставить себя на место известного героя и сказать то, что он мог бы сказать, не считалось у них ничем зазорным. Они не думали вовсе скрываться за сим притворством, но поскольку в ту пору мало читали, а писали еще меньше и уничтожались непосредственные памятники, мы доброжелательно относимся к этим

фальсификаторам, ибо не ведаем того, что все о них знали, о чем никто и не мешал узнать. Но возвращаясь к главной теме нашего примечания, *прежде чем довериться печальному выводу*, отметим, что у всех народов было принято облекать наставление в драматическую форму, ибо поистине нет средства более сильного для его самой проникновенной и неотразимой передачи. Так появились повсюду *легенды*, то есть рассказы для чтения в целях общего воспитания. Приключение Феспесия — это одна из греческих легенд, замысел и догматическую часть которой нужно воспринимать по-особенному. Было много написано против отдельных из наших латинских легенд, что, несомненно, весьма полезный факт, но недостаточный, ибо тогда необходимо еще написать против истины «Телемаха» или даже против очевидности «Блудного сына».

Юм заявил, что в своем трактате «Об отсрочке божественного Правосудия» Плутарх совсем забылся. Это произведение, по словам английского философа, «представляет собой суеверные воззрения и нелепые видения» («Опыты» — *Essays etc.*, London, in-4, p. 251). Юм, как видно, не любил Ад. О вкусах не спорят. Но в веках останется великая слава благоразумного Плутарха, сумевшего своим проникновенным рассказом о Феспесии, довести вялого Юма до совсем уж несправедливого гнева.

#### Примечание XXIII

Поначалу кажется, что к вящей славе Плутарха нужно послушать вторую часть из этого фрагмента о *врагах Государства*, потому что наша нынешняя манера видения является единственным доказательством обращения на свою сторону некогда непримиримого врага; однако нет ничего более сомнительного, и если захочется усомниться больше или развеять сомнение, то можно почитать об этом у Платона в «*Меноне*» (Opp. edit. Vipont. tom. IV, pag. 330, 331).

Все дальше углубляясь в греческую древность, выясняется, что самый знаменитый из лирических поэтов, особенно замечательный своими религиозными и нравственными чувствами, коими усыпаны его сочинения, вопрошает о *нежной любви и беспощадной ненависти*, как о совершенстве человеческого характера (Пиндар — *Pind. Pyth. II, 153, 155*).

Введенные в заблуждение счастливой привычкой, мы зачастую рассматриваем евангельскую мораль естественной, поскольку она в нас *натурализована*; это — большая ошибка: *милосердие* является таинством для сердца человека, равно как и *Троица* для его духа. Ни одно, ни другое не могло быть известно и, следовательно, иметь имя прежде эпохи откровения. Тогда только можно было узнать, «*что милосердие несовместимо с ненавистью к какому-нибудь человеку, пусть даже он был бы из всех людей самый гнусный и самый скверный*»; истина, до тех пор борющаяся за сердце человека и не нашедшая после нанесенного человеку оскорбления ничего более разумного, кроме ненависти, не столь же праведна, как

и мечь. Новые познания породили новые чувства» (Линьи. История жизни Иисуса Христа — Ligny. Hist. de la Vie de Jesus-Christ; Paris, Crapelet, 1804. in-4, tom. I, p. 226).

#### Примечание XXIV

Здесь неясность изложения самого автора, которую, как мне кажется, полностью невозможно устранить. Если понимать слово Γραμμή буквально, то неизбежно, что хотел сказать Плутарх, но возможно оно означает не просто линию, но линию очертания, *ограничивающую* тень. Амио, ко- ему позволялась смутность трактовки, перевел: «Он отбрасывал собой какой-то пугливый и темный абрис (*lineature*)». Ксиландр, приводимый у Виттенбаха, а равно и в прежних изданиях, говорит: «*Animadvertit sibi comitari appendicis loco obscuram quandam et umbrosam lineam*». Это — французские или латинские слова, взятые вместо греческих, и речь здесь всегда идет о переводе (\*).

(\*) Оригинал гласит: Εἶδεν εαυτῷ μὲν τινὰ συναίρουμενὴν ἀμύδραν (τινὰ) καὶ οκτώδῃ γραμμῇ. Я выразил смысл, который мне показался наиболее верным.

#### Примечание XXV

Обратите внимание на древние и всемирные предания о бездне, откуда изгнана надежда для всякого, кто находится в этом месте (Мильтон I, 66, 67), где невозможно ни жить, ни умереть (Алькоран, Глава 87). Плутарх называет сих несчастных, для которых нет больше никакой надежды, совершенно неизлечимыми (παύλαν ἀναίτους). Это выражение Платона (In Gorg. примечание 31). Они, являясь неизлечимыми, будут вечно страдать в ужасных наказаниях: «*Ἄτε ἀναίτοι οντες... τα μεύοιτα καὶ οδυνηρότατα καὶ φοβερότατα παθῆ λασκοντας τον αι χρόνον. κ. т. λ.*» Что же касается тех, чьи преступления не являются неизлечимыми, то они страдают во благо в этом и другом мире, не имея иного средства для искупления, как скорбь (Ibid., p. 168).

#### Примечание XXVI

Этот порок наиболее близок человеческому естеству, из-за чего бесконечно вызывает интерес у современных писателей, особенно тех из них в Европе, кто цитирует и живо переводит подобные проникновенные фрагменты, в которых здравомыслие и античные предания совершенно согласуются с этим безжалостным христианством. Я мог бы здесь привести красноречивые примеры, но дабы ограничиться отрывком Плутарха, который я в данный момент рассматриваю, замечу: новый издатель удовлетворен сказанным в принятом им переводе, что голубой свидетельствует о невоздержанности наслаждений (\*). Но сего более не обнаруживается в утомительных выражениях ни в *Κακὸν καὶ δεινὸν οὐσα* (это ужасный порок), ни

в *Μολὸς ἐκτετριπτα* (который стирается с большим трудом). Ксиландр уже устранил эти два отрывка в своем переводе (*edit. Stephan. in-fol. Paris, 1524, tom. II, p. 265*). И радуется только то, что вместо них он поставил звездочку, как если бы тут была лакуна в тексте (Виттенбах справедливо удалил этот ложный знак). Амио, наоборот, переводит услужливо как епископ: «*Там, где голубой цвет, это признак того, что там излечивали невоздержанность и развращенность сладострастия весьма долгое время и в страшной муке, настолько это чудовищный порок*». Последний издатель Амио также устраняет слова «*это чудовищный порок*», и утверждает, будто нужно читать без них (Paris, Cussac, 1802, tom. IV, p. 490, 491). Я же упорствую во мнении, что нужно переводить Плутарха.

(\*) *Coeruleus color intemperantiae circa voluptates.*

#### Примечание XXVII

Γενεσις, то есть Νευσις ἐπι γην. Эта этимология, о которой можно спорить, повторяется в фрагменте, сохраненном Стобеем (Наставления — Serm. CIX) и приписываемом Фемитию (Themitius), но господин Виттенбах на здравых основаниях отдает ее авторство Плутарху (Anim. p. 134). Впрочем, для морали неважно, что человеческое сознание (\*) создало бы слово для мысли, или что оно искало бы в мысли происхождение слова: сознание (вместе с совестью — прим. пер.) говорило всегда.

(\*) Здесь сознание обозначает совесть и, наоборот, совесть обозначает сознание, ибо и совесть, и сознание во французском языке передаются одним словом conscience — прим. пер.

#### Примечание XXVIII

Амио, по-видимому, заблуждается, убрав слово кратер. Текст слово в слово говорит, что от кратера исходило сияние всеми цветами, за исключением белого цвета. Но превосходный переводчик оказался прав, оставив без внимания фразу *αφανισθεντος μαλλον του περιεχοντος*, ибо она не несет никакого удовлетворительного смысла. Латинский перевод еще больше заслуживает порицания: *Ut propius accessit crater obscuritatis coloribus floridissimum retinuit absque albedine colorem*. Это, как мне кажется, грешит против смысла. Смысл, выраженный мной, удобен и представляет собой больше физической реальности, поскольку достоверно, что смешение всех цветов в кратере должно было производить белый.

#### Примечание XXIX

Явная аллегория и аллюзия на определенную доктрину вакхических мистерий. Божественный треугольник был знаменит в древности. Он осящался в Дельфах, и не существовало религии где бы число три не играло таинственной роли. После Всемирного Потопа, одинаково известного и отмечаемого людьми, несший Девкалиона и Пирру Ковчег остановился,

согласно греческим преданиям, упоминавшим об этом только однажды, на горе Парнасс, названной чисто индийским словом (смотрите «Азиатские исследования» — Les recherches asiatiques, in-4, том VII, р. 494 и сл.). Все храмы были уничтожены в этой катастрофе, за исключением храма Фемиды, *quiae lunc oracla tenebat*. «Богиня, облаченная светом и исшедшая из священного треугольника, пролила затем свет на эту избранную гору, установив там трегольник и т. д. и т. п.» (Я разумею здесь Иерофанта). Но поскольку в мироздании присутствует разрушающее все начало, то оракул, который должен был находиться на Парнассе, спустился в город Дельфы, чье имя является переводом санскритского слова *ioni* (господин Вильфорт в «Азиатских исследованиях» — M. Wilfort. loc. cit. том. VII, р. 562). Об этом возвещала сама Пифия всякий раз, когда ее охватывало вдохновение; таким образом, Плутарх советует нам избегать *эти преступные оргии*.

#### Примечание XXX

Эта мысль не имеет никакого отношения к Пиндару; все древние считали, что змеи рождались тем же способом как и Тифон (Плутарх «Об Исиде и Озирисе»- *Plut. de Is. et Osir.*). Заблуждение основывалось на вульгарном эксперименте: если дунуть в снятую кожу змеи, она надуется и станет удерживать воздух как баллон, покуда будет заткнута сверху. Естествоиспытатели с тех пор объяснили это мнимое чудо. Впрочем, предполагая фактическую истину, готовившееся превращение является весьма точной аллюзией на великие преступления Нерона.

#### Примечание XXXI

К сожалению, под конец своего несравненного трактата Плутарху изменяют всегда отличавшие его вкус и здравый смысл. Если Нерон и покровительствовал Грекам, обеспечивавшим его лучшими музыкантами и артистами, это еще не повод, чтобы делать комплимент этому чудовищу. Воображению отказано видеть Нерона, превращенного в лебедя: это соллецизм против здравого смысла и даже против морали. Что же касается похвалы, обращенной греческой нации, то какой известный народ не сказал бы: «Я главный!»? Не имеется никакого средства, чтобы измерить сие превосходство. О, если бы в мире не было ни угломера, ни барометра, то кто помешал бы разным народам считать их горы самыми высокими во вселенной? Отмечу только, что нужно овладеть *Тенериффе*, *Симборасо* и пр., дабы осуществить это притязание: иные нации покажутся смешными даже при виде на них невооруженным взглядом.

## ОПЫТ ОБ ОБЩЕМ НАЧАЛЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ КОНСТИТУЦИЙ И ДРУГИХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ УСТАНОВЛЕНИЙ

господина графа де Местра,  
полномочного представителя  
Его Величества короля Сардинии  
при Его Величестве Императоре Всероссийском  
и автора «Рассуждений о Франции».

*Сыны мужей! доколе слава моя будет в поругании?  
доколе будете любить суету и искать лжи?  
«Псалтирь»: Псалом 4, стих 3.*

### ПРЕДИСЛОВИЕ

Политика, которая возможно самое тернистое из знаний из-за постоянно возникающей трудности в различении стабильного или подвижного в ее элементах, представляет собой весьма странный феномен, заставляющий трепетать всякого мудрого человека, призванного управлять Государством, ведь то что здравый смысл поначалу принимает в этом знании за явную истину, оказывается почти всегда на практике не только ложным, но и губительным.

Начнем с азов: если бы когда-либо не прислушались к правительству и призвали бы людей на обсуждение, положим, статуса наследственной или выборной монархии, то воистину считался бы безумцем всякий, кто решился бы на этот шаг. Доводы против данного деяния настолько очевидны разуму, что нет смысла о них упоминать.

Однако история, являющаяся экспериментальной политикой, доказывает, что наследственная монархия есть наиболее стабильная, наиболее удачная и наиболее естественная для человека форма правления, а выборная монархия, наоборот, худший вид из известных правлений.

По отношению к населению, торговле, запретительным законам и тысячи иных тем почти всегда берется самая правдоподобная теория, противоречащая практике и уничтожаемая ей. Приведем несколько примеров.

Что нужно предпринять для создания сильного Государства? «Прежде всего необходимо покровительствовать народонаселению всеми возможными средствами». — Напротив, всякий закон, стремящийся покровительствовать народонаселению без учета иных соображений, плох. Нужно даже постараться установить в государстве определенное моральное правило с целью уменьшить число браков, сделав их менее поспешными. Преимущество рождений над смертями свидетельствует обыкновенно лишь о числе несчастных и т. д. и т. п. Французские экономисты, наметившие доказательство этих истин, тем самым завершили блестящий труд господина Мальтуса.

Как можно предупредить неурожай и голод? — «Нет ничего более простого. Нужно запретить вывоз зерна». — Наоборот, нужно наградить тех, кто его экспортируют. Пример и авторитет Англии вынудили нас проглотить этот парадокс.

Как нужно удерживать денежный курс во благо страны? — «Несомненно нужно помешать денежной массе выйти из-под контроля, стараясь соблюдать жесткое запретительное законодательство, когда бы Государство не покупало больше, чем оно продает». — Напротив, никогда не используйте этих средств без понижения денежного курса или что то же самое — без увеличения национального долга; и никогда не вступайте на противоположный путь, не сделав повышение цен, то есть наглядно не доказав, что доверие к Нации у ее соседей возросло и т. д. и т. п.

Но именно к тому, чем самым существенным и фундаментальным Политика обязана Конституции Государств, зачастую и возвращается наблюдение. Разъясняя, скажу, что немецкие Философы ввели термин *Метаполитики* для обозначения Политики от Политики, подобно тому как название *Метафизики* обозначает Физику от Физики. Представляется, что этот новый термин удачно введен именно для того, чтобы выражать политическую *Метафизику*, каковая присутствует, и это знание достойно всяческого внимания исследователей.

Один анонимный автор, во многом преуспевший в подобных видах умозрений и искавший достичь скрытых основ социального устройства, посчитал себя вправе почти двадцать лет тому назад выдвинуть столь бесспорные аксиомы, сколь и следующие положения, диаметрально противоположные современным теориям.

1. Никакая Конституция не проистекает из обсуждения: права народов никогда не бывают писаными; они лишь простые декларации предшествующих неписаных прав.

2. Человеческое деяние ограничено в данных случайных проявлениях до такой степени, что сами действующие люди суть только обстоятельства.

3. Права народов в собственном смысле почти всегда происходят от благоволений Самодержцев, и здесь их можно обосновать исторически;

но у прав Самодержцев и аристократического сословия нет ни времени происхождения, ни известных авторов.

4. Даже благоволениям Самодержца всегда предшествовало состояние вещей, которое делало их необходимыми и которое от него не зависело.

5. Хотя писанные законы всегда были только декларациями предшествующих прав, но требовалось, однако, многое для того, чтобы эти права могли быть записаны.

6. Чем больше пишется, тем более слабым оказывается установление.

7. Ни одна нация не может даровать себе свободу, если она ее не имеет (1); человеческое влияние не простирается за пределы развития существующих прав.

8. Законодатели по своей сущности являются необыкновенными людьми и принадлежат, быть может, только древнему миру и юности Наций.

9. Даже обладая чудесной силой, эти законодатели занимались лишь собиранием существовавших прежде элементов, действуя во имя Божества.

10. Свобода в определенном смысле есть дар Царей, ибо почти все свободные Нации были созданы Царями (2).

11. Никогда не существовала свободная нация, которая не имела бы в своей естественной Конституции столь же древние, как и она сама, зачатки свободы; и всегда ей удавалось развивать в своих фундаментальных писанных законах лишь те права, которые существовали в ее естественной Конституции.

12. Никакое собрание людей не может образовать Нацию. Подобное предприятие должно занимать место среди самых памятных проявлений безумства (3).

Но неужели, начиная с 1796 года, времени первого издания процитированной нами книги, в мире не произошло ничего, что могло бы заставить автора разочароваться в своей теории. Наоборот, мы считаем, что в данный момент скорее полезным является ее полноценное развитие и завершение всех ее выводов, из которых, несомненно, наиболее важный изложен в тех же выражениях в главе X того же самого сочинения.

Человек не способен создать Самодержца. Самое большее он может служить орудием низложения Самодержца, передав свое Государство другому Самодержцу, уже Принцу... Впрочем, никогда не существовало владетельного семейства определенно плебейского происхождения. Если этот феномен проявился, то ознаменовал собой новую мировую эпоху (4).

Можно поразмыслить над тезисом, с которым согласилась божественная цензура в весьма торжественной форме. Но кому известно, что невежественное легкомыслие нашего века не заговорит всерьез? И если бы захотелось, оно бы осталось на своем месте? Как оно повторяет спустя два века: «Если бы Ричард Кромвель обладал талантом своего отца, то сумел бы установить Протекторат своего семейства». Последнее в точности

приводит к заключению: «Если бы это семейство не перестало бы править, оно бы еще правило».

Ибо написано: «Я ТОТ, КТО ТВОРИТ ЦАРЕЙ» (5). Это вовсе не церковное изречение, метафора предсказателя. Это буквальная истина, простая и очевидная. Это закон политического мира: Бог создает Государей в прямом смысле слова. Он prepares царственные племена, он их взращивает в пелене, скрывающей их происхождение. Они появляются затем, увенчанные славой и честью; они определяются; и вот самый яркий признак их легитимности.

Они выдвигаются сами по себе без насилия, с одной стороны, и обсуждения, с другой: таков вид величественного спокойствия, которому сложно подобрать выражение. Мне представилось подходящим выражение «легитимная Узурпация» (если бы оно не являлось слишком дерзновенным), чтобы охарактеризовать подобные возникновения, которые топорится укрепить время.

Как не поражаться наилучшим человеческим проявлениям. Кто их вобрал прежде, как не герой, падение которого еще ощутимо по всей Европе? Видели ли доселе столь внешне крепнущую державность, самое значительное единение сил, самого могущественного, деятельного и ужасного человека? Долгое время мы наблюдали за ним, повергнувшим к своим ногам двадцать немых и оцепеневших от страха народов; и его власть, наконец, пустила определенные ростки, которые могли привести в отчаяние даже надежду. — Однако он пал, и пал столь низко, что созерцающее его Сострадание удаляется из страха к нему прикоснуться. Впрочем, можно отметить здесь мимоходом, что по схожей причине стало одинаково затруднительно говорить об этом человеке, и о его августейшем Сопернике, который избавил от него мир. Один из них избегает оскорбления, другой — похвалы. Но вернемся.

В произведении, известном только малому кругу людей в Санкт-Петербурге, автор писал в 1810 году:

«Когда две партии сталкиваются в революции и когда видно как одна сторона приносит драгоценные жертвы, можно биться об заклад, что эта партия одолеет, несмотря на всякие внешние противодействия».

Здесь приводится утверждение, истина которого была засвидетельствована самым неопровержимым и непредвиденным образом. Моральный уклад, подобно физике, имеет свои законы, и исследование их составляет наиболее достойное занятие для подлинного философа. После столетия преступных мелочей настало время напомнить нам, кем мы являемся, и возвести всякое знание к его истоку. Именно то, что и определил автор данного небольшого сочинения, позволив ему покинуть портфель, который его удерживал в течение пяти лет. Правда, время создания его прежде и передает его слово в слово таким, каким оно было написано в ту эпоху. Дружба вызвала к жизни эту публикацию, что, быть может, и плохо

для автора, ибо добродетельная дама в некоторых случаях столь же слепа, сколь и ее брат. Как бы там ни было, но разум, навевший произведение, пользуется известной привилегией: он может, несомненно, иногда заблуждаться в различных предметах; он может преувеличивать или говорить слишком выпендренно; он может, наконец, оскорбить язык или вкус, — и в этом случае пусть радуются умники, если случайно таковое обнаружится; но всегда он себе будет оставлять хорошо обоснованную надежду никого не шокировать, поскольку любит весь мир, питая совершенную уверенность заинтересовать весьма многочисленный и достойный класс людей, никогда не повреждая только одному — всеуспокаивающей вере.

---

(1) Здесь вспоминается свидетельство Макиавели: «Un Popolo uso a vivere sotto un principe, se per qualche accidente diventa libero, con difficulta mantiene la liberta» («Изначально живший плохо и случайно сделавшийся свободным народ с трудом переносит свободу»). (Disc. sur Tite-Live. V. 16 — «Рассуждения о Тите Ливии»).

(2) Здесь должны быть тщательно рассмотрены современные монархии. Поскольку все легитимные и святые вольности подобного рода должны исходить от Самодержца, то все что от него отрывается силой, поражено анафемой. «Написать закон, — прекрасно сказал Демосфен, — это ничто; но ВОПЛОТИТЬ ВОЛЮ — это все» (Olynth. III.). И если есть истинный Монарх по отношению к народу, как скажем мы о Нации, то зачем тогда кучке горячечных теоретиков для использования более смягченных формулировок предлагать законному Самодержцу Конституцию, будто бы предлагая капитуляцию осажденному генералу? Все это будет неприличным, абсурдным и по-особенному ничтожным.

(3) Здесь еще цитируют Макиавели: «E necessario che uno sia quello che dia il modo e della cui mente dipenda qualunque simile ordinazione» (Ibid. L. 9.).

(4) «Рассуждения о Франции» — Глава IV.

(5) «Рассуждения о Франции» — Глава X, параграф 3.

(6) Per me Reges regnant (лат. «Благодаря мне правят Монархи»). Prov. VIII. 15.



## ОПЫТ ОБ ОБЩЕМ НАЧАЛЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ КОНСТИТУЦИЙ И ДРУГИХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ УСТАНОВЛЕНИЙ

**I.** Одно из великих заблуждений столетия, проповедовавшего их повсеместно, заключалось в посыле, будто политическая конституция могла быть написана и создана а priori, тогда как разум и опыт объединяются, дабы установить, что конституция является божественной работой, и все поистине фундаментальное и сущностно образующее в законах нации не могло быть написано.

**II.** Зачастую думали остроумно подшутить над Французами, спрашивая их *в какой книге записано Салическое Право*. Но Жером Биньон прекрасно ответил, возможно и не осознавая, насколько оказался прав, *что оно написано в сердцах Французов*. В самом деле представим, будто закон подобной важности существует лишь потому что написан, тогда, конечно, всякая власть написавшая его будет обладать правом его же и уничтожить; значит такой закон не сможет нести в себе характера святости и неизменности, который отличает по-настоящему конституционные законы. Сущность основного закона состоит в том, что его никто не имеет права отменить. Ибо каким образом он пребудет над *всем, если кто-то* его уже отменял? Согласие народа невозможно; и когда бы было по-иному, согласие еще не Закон и никого не обязывает, по крайней мере, не располагает гарантировавшим его высшим авторитетом. Локк искал характер Закона в выражении общего волеизъявления: нужно быть очень удачливым, чтобы встретить таким образом характер, который совершенно исключает идею Закона. В действительности общее волеизъявление создает *Постановление*, но не *Закон*, каковой непременно и явно предполагает высшую волю, которая становится послушной (1) «в системе Гоббса» (той же самой системе, что имела большой успех в нашем столетии в изложении Локка). «Сила гражданских законов зиждется только на договоре. Но если нет никакого естественного закона, повелевающего исполнять созданные законы, то для чего они служат? Обещания, обязательства, присяги являются только словами, и гораздо легче порвать эту пустую связь, нежели ее образовать. Без догмата о Боге-Законодателе любое моральное обязательство химерично. Сила, с одной стороны, немощь, с другой — вот связующая нить человеческих обществ» (2).

Сказанное здесь мудрым и глубоким теологом о моральном обязательстве в равной степени применимо и к обязательству политическому или гражданскому. Закон является в прямом смысле *Законом* и обладает подлинной санкцией только тогда, когда допускается, что он проистекает от высшей воли; таким образом, его сущностный характер *не есть всеобщее*

*волеизъявление*. Иначе законы будут, как об этом говорили, лишь *Постановлениями*, и как о том же утверждает только что цитированный автор: «Те, кто обладал свободой совершать эти договоренности, не лишались возможности их отменить; и их наследники, не принимавшие в них никакого участия, еще менее держались их соблюдения» (3). Отсюда получается, что первоначальный здравый смысл, к счастью предшествующий софизмам, искал с любой стороны санкции законов в сверхчеловеческой власти, либо признавая, что самодержавие исходит от Бога, либо что определенные неписанные законы в качестве исходящих от Него.

**III.** Редакторы римских законов издали без всякого притязания в первой главе своего собрания весьма замечательный фрагмент из греческой юриспруденции. «*Среди законов, которые нами правят, — говорит этот отрывок, — одни писанные, а другие не суть таковые*». Нет ничего более простого и глубокого. Известен ли какой-нибудь турецкий закон, определенно позволяющий Суверену препроводить человека на смертную казнь без непосредственного решения суда? Известен ли какой-нибудь писанный и даже религиозный закон, который это воспрещает Монархам христианской Европы (4)? Однако Турок, видя своего господина, приговаривающего к смерти человека, поражен не более, чем видя того же господина идущим в мечеть. Вся Азия, а вместе с ней и вся Античность, едины во мнении, что право смертного приговора, исполняемого немедленно, является законным преимуществом самодержавности. Но наши Государи трепещут от одной мысли приговорить человека к смерти, ибо, повинувшись нашим взглядам, этот приговор обратится в отвратительное убийство. И все же я сомневаюсь, что было бы возможно им воспретить подобное писаным законом, не внося большее зло, чем то, которое бы хотели этим предупредить.

**IV.** Спросите римскую историю, каковым являлось полномочие Сената; по крайней мере, она умалчивает о точных границах этой власти. А в целом прекрасно видно, как власть плебеев и власть Сената, не переставая бороться, взаимно уравнивали друг друга; прекрасно видно, как патриотизм или утомленность, слабость или необузданность прекращали эти опасные состязания, о чем мы узнаём больше (5), присутствуя на этой великой сцене истории, иногда теша себя мыслью, будто вещи были бы намного лучше, если бы существовали точные законы для ограничения власти. Но это великое заблуждение: подобные законы, всегда подрываемые непредвиденными обстоятельствами и вынужденными исключениями, либо не просуществовали бы и шести месяцев, либо сокрушили бы Республику.

**V.** Английская Конституция есть наиболее близкий для нас пример, а потому и наиболее поразительный. Всякий исследующий ее внимательно заметит, *что она не продвинулась ни на шаг* (если позволительна подобная игра слов). Она поддерживается только исключениями. Англий-

ский законодательный акт *habeas corpus*, к примеру, столь часто, сколь и надолго бывал приостановленным, что можно было бы усомниться, а не сделалось ли правилом исключение. Представим на мгновение, что авторы этого знаменитого акта вознамерились установить казус, при котором он мог бы быть приостановлен, и тогда они бы уничтожили его фактически.

**VI.** На заседании Палаты Общин 26 июня 1807 года некий лорд привел в качестве авторитета одного государственного деятеля, чтобы установить, что Король не имеет права распустить Парламент во время его Сессии, но это мнение было оспорено. Так, где же Закон? Попытайтесь его установить, сугубо зафиксировав в письменном виде случай, когда Король имеет на это право — и вы вызовете революцию. «Король, — скажет тогда один из парламентариев, — *обладает данным правом в исключительном случае*». Но что из себя представляет *исключительный случай*? Попытайтесь разрешить еще и это в письменном виде.

**VII.** Но вот самая необыкновенная вещь. Весь мир помнит великую проблему, столь горячо взволновавшую Англию в 1806 году. Она сводилась к вопросу: *согласуется или нет совмещение судейской должности и членства в Тайном совете с принципами английской Конституции?* На заседании Палаты Общин 3 марта того же года один из ее членов отметил, что *Англия управляема Корпорацией (Тайным советом), о которой не ведает Конституция* (6). *Единственно она ей предоставляет действовать* (7), как добавил потом он.

Итак, у этой мудрой и поистине знаменитой Англии имеется Корпорация, которая на самом деле всем правит и все творит, но *о которой не знает Конституция*. Делом позабыл об этой характерной черте, что я мог бы подкрепить и несколькими другими.

После этого что уж нам говорить о написанной Конституции и о конституционных законах, составленных *a priori*. Непонятно как здравомыслящий человек может грезить о самой вероятности подобной химеры. Так вздумали и в Англии сочинить закон, чтобы облечь конституционным существованием Тайный совет, упорядочив и строго прописав его привилегии и его прерогативу, чтобы с необходимой предосторожностью ограничить его влияние, помешав совету, злоупотребившему им, сокрушить Государство.

Подлинная *английская Конституция* — это общественное мнение, восхитительное, единое, выше всякой похвалы непогрешимое, которое всем руководит, все сохраняет и все спасает. И оно никем не записано (8).

**VIII.** На исходе прошлого столетия раздавались громкие возгласы против министра, согласившегося с проектом введения в Королевстве той самой английской Конституции (или того, что называлось этим именем): тогда судорожно, обращаясь к министру, восклицал один из английских парламентариев: «Он заблуждался, если этого захотел, насколько возможно заблуждаться и в своей искренности, позволив себе подменить то,

во что я верю всем своим сердцем. Но кто имеет право его осуждать? *Vel duo, vel nemo*» (*Либо двое, либо никто* — лат.). В своей инициативе министр не выказал никакого стремления что-нибудь нарушить; говорят, он хотел только заменить одну вещь, что ему казалось благоразумным, другой, которой более не желали, да ее и фактически больше не существовало. Подобным образом, впрочем, подменяется и установленный принцип (если он таковым являлся в действительности). *Какой человек способен создать Конституцию?* Этот Министр, будучи, конечно же, человеком, имел право сделать все по-своему или по-иному, и даже больше чем по-иному. Неужели воззрения на сей счет оказались сомнительными? Не представляется ли, со своей стороны, что Конституция является произведением духа, подобно Оде или Трагедии? Не провозгласил ли *Томас Пейн* с глубокомысленностью, восхитившей Университеты, что конституция существует до того, как ее можно положить в карман? XVIII век ни в чем не сомневается и не сомневался: такова традиция; но я не думаю, что он произвел на свет хотя бы одного настолько одаренного юноши, который, выпустившись из Колледжа, не объял бы три вещи — *Неопедию*, Конституцию и Человеческое общество. Если подобный человек, вступивший в зрелость возраста и таланта, глубоко погруженный в экономические науки, постиг бы только вторичное из этих вещей, я нашел бы его крайне скромным; но, признаюсь, мне представляется истинным чудом премудрости и сдержанности, когда я его вижу (по крайней мере, так мне кажется) поставившим опыт на место безумных теорий, обратившимся почтительно за Конституцией к англичанам, вместо того чтобы ее сочинять самому. Скажут: «*Сие было невозможным*». Я это знаю, хотя он о том и не ведал. И как он смог бы об этом узнать? Да и кто мне назовет того, кто ему сказал бы об этом.

**IX.** Скорее больше станут изучать игру человеческих страстей вокруг создания политических Конституций и больше убедятся, что они влияют на это либо сугубо зависимым образом, либо в качестве простого орудия; и я не думаю, что остается хотя бы малейшее сомнение в бесспорной истине следующих положений:

1. Начала политических Конституций существуют прежде всякого писаного закона.

2. Конституционный закон является и может являться только развитием или санкцией существовавшего прежде неписаного права.

3. Все наиболее существенное, свойственное Конституции и поистине фундаментальное для нее никогда не записывается и не сможет стать таковым, не подвергнув риску Государство.

4. Слабость и недолговечность Конституции напрямую и в точности соразмерно множеству написанных конституционных статей (9).

**X.** На сей счет мы введены в заблуждение столь естественным софизмом, который полностью убегает от нашего внимания. Ибо человек дейст-

вует и думает действовать сам по себе; и поскольку он обладает сознанием своей свободы, то забывает о своей зависимости. На физическом уровне он внемлет гласу рассудка, и даже если он способен, к примеру, посадить желудь, поливать его и пр., тем не менее соглашается, что не он творит дубы, наблюдая растущее и совершенствующееся дерево без человеческого вмешательства. Хоть, впрочем, он не создал даже желудя. Но на общественном уровне, коим он представлен и движим, человек возрастает до того, что считает себя по-настоящему прямым творцом всего делаемого им, в смысле мастера, который возомнил себя архитектором. Человек, несомненно, умен, свободен, высокомерен, но и в этом он всего лишь *орудие Бога*, следуя удачному выражению Плутарха в блестящем фрагменте, который органично сюда вписывается:

«Не стоит изумляться, — говорит он, — когда самые прекрасные и большие вещи творятся по воле и провидению Господа, ввиду того, что все великие составные части мироздания имеют душу, ибо сосуд и орудие души есть тело, а душа является ОРУДИЕМ БОГА. И так как тело обладает в себе несколькими движениями, в большинстве своем самыми благородными, оно их получает от души; одинаково и душа не творит никакого из этих действий, будучи сама по себе немой; для других она позволяет управлять собой, поднимаясь и обращаясь к Богу, если это ей угодно, являясь самым восхитительным сосудом и удобным орудием, которое могло только существовать, ведь покажется странным, что ветер, вода, тучи и дожди были бы инструментами Бога, благодаря которым он доставляет пропитание и поддерживает многие творения, а души бы он не использовал ни в одном из своих трудов. Наоборот, гораздо правдоподобнее, что души, поскольку они полностью зависят от божественной власти, служат во всех своих действиях и способствуют осуществлению божественной Воли; они ей послушны больше, нежели стрелы Скифам, а Грекам — лиры и гобои (*haubois*)» (10).

Лучше нельзя и выразиться, и я думаю, что эти блестящие размышления обретают наиболее верное применение в создании политических Конституций, где с одинаковой истиной можно сказать: человек делает все, не делая ничего.

**XI.** Если и припоминается что-то известное, так это сравнение Цицерона, сделанное им в отношении системы Эпикура, желавшего построить мир при помощи атомов, случайно попавших в пустоту. «*Мне пристало скорее полагать, —* сказал великий оратор, *— что буквы, брошенные в воздух смогут, упав, превратиться в поэму*». Тысячи уст повторяли эту мысль, но я не видел никого, кто бы посмел добавить то, что ей недостает. Представим, что типографские буквы, брошенные с высоты какой-либо башни, устремляются на землю создавать «Аталию» Расина. Что же из этого следует? *Мудрость руководила падением и расстановкой букв*: здравомыслящий человек не сделает иного вывода.

**XII.** Рассмотрим теперь политическую Конституцию, к примеру, конституцию Англии. Конечно, она не была создана *a priori*. Никогда государственные мужи не собирались и не говорили: «*Соворим три власти, уравновесив их таким-то образом*» и пр. Никто об этом и не думал. Конституция является произведением обстоятельств, и число этих обстоятельств бесконечно. Законы римские, церковные, феодальные; обычаи саксонские, норманские и датские; привилегии, предрассудки и притязания любого характера; войны, мятежи, революции, завоевание, Крестовые Походы; всяческие добродетели, пороки, познания, заблуждения, страсти, — все эти элементы, работая вместе и образуя в своем смешении и взаимодействии миллионы myriad множественных сочетаний, производили, в конце концов, после нескольких циклов, сложнейшее единство и прекраснейшее равновесие политических сил, когда либо наблюдавшееся в мире (11).

**XIII.** И поскольку эти элементы, подобным образом брошенные в пространство, расставлялись в столь замечательном порядке, когда в этой многочисленной толпе действовавших на огромном поле людей один человек не только никогда не смог бы сделать того, что творилось всеми, но даже и предусмотреть происходящего, то выходило, будто эти элементы направлялись в своем падении непреложной десницей, высшей по отношению к человеку. Возможно самое великое безумство века безумств заключалось в убеждении, что фундаментальные законы могли быть написаны *a priori*; тогда как они явно суть произведение высшей по отношению к человеку силы, и что их весьма позднее письменное изложение является для них ярким признаком ничтожества.

**XIV.** Очень знаменательно, что Бог, соблаговоливший обращаться к людям, сам проявил эти истины в двух откровениях, которые мы храним по его благодати. Весьма искусный человек, который творит войной до победного конца, на мой взгляд, нечто вроде эпохи в нашем столетии, являет нам своими сочинениями, наряду с наиболее ужасными предрассудками века, сектантства, привычек и пр., одинаково и самые чистые порывы, самые праведные устремления сердца и самые изысканные познания. Сей искусный человек решил: «Что непосредственно исходящее от Бога наставление, или данное в его повелениях, ДОЛЖНО прежде всего свидетельствовать людям о существовании этого СУЩЕСТВА». Это в точности до наоборот, ибо первая характерная черта этого наставления — прямо не раскрывать ни существование Бога, ни его свойств, но полагать все предварительно известным, не сознавая ни почему, ни как. Значит, оно вовсе не говорит: «*Нет ничего; или вы уверуете только в единого вечного Бога, Всемогущего*» и т. д. Оно говорит (и это его первое слово) в чисто повествовательной форме: «*В начале Бог создал...*» и т. д. Чем оно и предполагает, что догмат известен прежде писания.

**XV.** Перейдем к Христианству, которое является самым великим из всех мыслимых установлений, ибо оно полностью божественно и пред-

назначено для всех людей и на все века. И оно, оказывается, подвластно общему Закону. Разумеется, его божественный творец был сам по себе прекрасным мастером письма или письменного творчества; однако он не оставил ни того, ни другого, по крайней мере, в законодательной форме. «Новый Завет», появившийся по смерти Законодателя и даже после установления его религии, представляет собой повествование, предупреждения, нравственные предписания, увещания, призывы, угрозы и т. д., но никак не сборник изложенных в повелительной форме догм. Евангелисты, рассказывая о Тайной Вечере, когда Господь нас возлюбил ДО КОНЦА, имели здесь прекрасную возможность письменно направлять нашу веру; они остерегались, тем не менее, что-то провозглашать или повелевать. Легко читается в их восхитительном рассказе: «Идите! Научите!» Но нет нигде: *научите здесь или там*. Если же догмат выходит из-под пера священного историка, он его излагает просто как вещь заведомо известную (12). Возникший с тех пор Символ Веры есть исповедание признания веры и противодействие заблуждениям времени. В нем мы читаем: «Мы веруем». И нигде не находим: «Вы верьте». Мы произносим Символ Веры поодиночке, мы его поем в Храмах под звуки *Лиры и Органа* (13), как истинную молитву, ибо он формула покорности и доверия Богу, а также веры, обращенной к Нему, но совсем не повелений, обращенных к людям. Я желал бы посмотреть положенные на музыку «Аугсбургское исповедание» или «Тридцать девять статей» (тезисов Лютера — прим. пер.); это было бы занимательно (14)!

Вряд ли и ранние вероисповедные Символы содержат изложение всех наших догматов; Христиане той поры, наоборот, почитали за большое преступление излагать их *все*. Таким же образом обстоит дело и со Священным Писанием: никогда не нашлось бы более пустой идеи, чем искать в них полноту христианских догматов. В Священном Писании нет и строчки, которая указывает на то, что стоит только разглядеть замысел произведения, как можно составить из него свод правил или догматическое исповедание всех основ Веры.

**XVI.** Более того, если народ обладает этими *Вероисповедными кодексами*, то можно быть уверенным в трех вещах:

1. Религия Народа является ложной.
2. Что Религиозный кодекс написан им в приступе лихорадки.
3. Вскоре над самой подобной Нацией станут потешаться, и она не сможет иметь ни силы, ни будущего. Таковы, к примеру, эти знаменитые *С т а т ь и, которые больше подписываются, нежели читаются, и которые читаются не больше, чем им доверяют* (15). Этот каталог догматов не только считается пустяковым или почти таковым в стране, где он увидел свет, но более того — даже невооруженному взгляду явно, что славные владельцы этого листка бумаги весьма им обременены. Они очень хотели бы, чтобы он исчез, поскольку он досаждал здравому нацио-

нальному смыслу, просвещенному временем, поскольку он напоминает им о несчастном происхождении; но *Конституция написана*.

**XVII.** Никогда, конечно же, те же самые Англичане не попросили бы Великой Хартии, если бы привилегии Нации не были нарушены; но одинаково никогда они не стали бы ее просить, если бы привилегий не существовало раньше Хартии. С церковью обстоит дела, как и с Государством: если бы никогда Христианство не подвергалось нападкам, то оно не установило бы письменно свой догмат; но догмат был зафиксирован на письме лишь оттого, что он существовал прежде в своем естественном состоянии, которое есть состояние *Слова*.

Подлинными вдохновителями Тридентского Собора были два великих новатора XVI столетия (16). Их ученики, став более спокойными, с тех пор предложили нам стереть сей фундаментальный закон, поскольку он содержит несколько затруднительных для них слов; и они попытались нас прельстить, показав возможность объединения такой ценой, которая бы сделала нас соучастниками, вместо того чтобы сделать нас друзьями; но сей вопрос не является ни богословским, ни философским. Они сами некогда привнесли в религиозный язык слова, которые их утомляют. Пожелаем, чтобы они сегодня научились их произносить. Вера, если бы ее никогда не вынуждала писать оппозиционная софистика, была бы в тысячу раз более ангельской: она оплакивала это решение, когда ее разрывала смута, решение, обращавшееся всегда несчастьями, ибо оно всячески предполагает либо сомнение, либо нападение, поскольку могло возникнуть только посреди опасных потрясений. Состояние войны возвело эти внушительные ограды вокруг Истины: несомненно, они ее защищают, но они ее и скрывают, делая неприступной и через то мало досягаемой. Увы, в этом нет ее желания, ее, жаждавшей заключить в свои объятия весь род человеческий.

**XVIII.** Я говорил о Христианстве как вероисповедной системе, теперь стоит рассмотреть христианскую государственную власть в ее самых многочисленных сообществах. Известно всем, что она является монархической: так и должно быть, поскольку монархия, исходя из самой природы вещей, становится более необходимой по мере того, как общество становится более многочисленным. Нельзя позабыть как один непристойный тип соглашался даже в наши дни, когда говорил, *что Франция была монархией по географическому признаку*. На самом деле труднее выразить удачнее эту неоспоримую истину. Но если протяженность Франции отвергает даже идею всякого иного вида политического устройства, с тем большим основанием эта государственность, которая по природе своей Конституции всегда будет иметь подданных во всех точках земного шара, могла быть только монархической; и опыт в данном случае подтверждает теорию. Может ли означать, выдвинутое здесь суждение, что подобная монархия оказывается, со своей стороны, более четко очерченной и ог-

раниченной, как и все другие, в преимуществе? Это противоречие имеет место. Читайте многочисленные тома, порожденные войнами между странами, а порой и гражданской войной, имеющей свои преимущества и свои неуместности, и вы увидите, что всякая сторона приводит только факты; это настолько замечательная вещь, что высший суд мог постоянно дискутировать по вопросу, который представляется всем умам основным вопросом Конституции, никак не желая разрешить его формальным законом; и это должно быть именно так, если я бесконечно не заблуждаюсь по причине фундаментальной значимости вопроса (17).

Некоторые недобрые и по слабости безрассудные люди прельстились его решить в 1682 году вопреки воле великого человека, что явилось одним из ярких опрометчивых шагов, когда либо совершенных в мире. Оставшийся с тех пор памятник, несомненно, во всех отношениях достоин осуждения, особенно со стороны, которая не была отмечена, хотя более чем всякая иная давала повод для просвещенной критики. Знаменитая декларация осмелилась решить в письменном виде, без необходимости и даже внешне (что ведет к сугубой ошибке) вопрос, который надо было предоставить на суд истинной целесообразной мудрости, просвещенной ВСЕЛЕНСКИМ сознанием (18).

Такова единственная точка зрения, соответствующая замыслу сего произведения, что вполне достойно размышлений всякого здравого рассудка и всякого праведного сердца.

**XIX.** Эти идеи (в своем большинстве) никак не являются чуждыми и философам древности, которые прекрасно чувствовали слабость, я даже сказал бы ничтожность Письма для великих установлений; но никто, кроме Платона, лучше не увидел и не выразил эту истину, обретаемую всегда первой на пути великих истин. Итак, следуя Платону: «Человек, обязанный всем своим образованием написанному *будет обладать только видимостью мудрости*» (19). «Слово, — добавляет он, — есть для писания то, чем человек является для своего портрета. Написанные произведения предстают перед нашими глазами будто живые, но *если их спрашивают, они с достоинством хранят молчание*» (20). Одинаковое происходит и с сочинением, *которое не ведает, что нужно сказать одному человеку, или что нужно утаить от другого*. Если сочинение подверглось нападкам или безосновательному оскорблению, оно не может защититься, *ибо его отца там нет, чтобы его поддержать* (21). И когда кто-то возомнит себя способным установить в одном писании ясное и прочное учение, ЭТО БОЛЬШОЙ ГЛУПЕЦ (22). Если он и в самом деле владеет подлинными зернами истины, он будет остерегаться полагать, будто с помощью *чернильной жидкости и пера* (+ 23) он сможет посеять их во Вселенной, защитив их от суровости погоды и сообщив им необходимую плодovitость. В отношении того, кто пытается написать *законы или гражданские конституции* (24) и воображает себе, что, написав их, он смог им придать

соответствующие несомненность и стабильность, то кем бы ни был этот человек, обывателем или законодателем (25), что бы и о чем бы ему не говорили (26), он опозорен; ибо доказал тем самым, что ничего не ведает о вдохновении и безумии, справедливом и ложном, добром и злом. Ведь сие невежество обратилось бы бесчестьем, даже когда ему рукоплескала бы целая толпа народа» (+ 27).

**XX.** Уразумев *мудрость Народов*, думаю, не будет бесполезным услышать еще и христианскую философию.

«Несомненно, явилось бы желанным, — сказал самый красноречивый из греческих Отцов, — чтобы мы не имели нужды в писаниях и чтобы божественные установления были бы написаны только в наших сердцах милосердием, наподобие того как они благодаря чернилам присутствуют в наших книгах. Но поскольку мы утратили это милосердие из-за нашего греха, то ухватимся, насколько это возможно *за утлую доску вместо судна*, не забывая о превосходстве прежнего состояния. Бог не открывал никогда ничего в письменном виде Избранным Ветхого Завета: всегда он им говорил прямо, ибо он видел чистоту их сердец, но еврейскому народу, впавшему в бездну пороков, понадобились книги и законы. То же самое повторилось под властью нового откровения, ибо Христос не оставил ничего написанного своим Апостолам. Вместо книг он им обетовал Святой Дух, сказав, что *именно он внушит вам должное сказать*» (28). Но так как с течением времен греховные люди восставали против догматов и нравственности, то стало необходимым это отразить в книгах».

**XXI.** Выходит, вся истина сосредоточена в этих двух авторитетах. Они показывают большое слабоумие (здесь весьма уместно выразиться как Платон, что никогда не бывает раздражителен), повторю, большое слабоумие бедных людей, возомнивших, будто они сами Законодатели (29), будто Законы идут от бумаги, будто можно создать Народы *при помощи чернил*. Авторитеты, наоборот, свидетельствуют, что написанное является признаком слабости, невежества или страха, ведь чем совершеннее установление, тем оно меньше что либо записывает, и если оно по-настоящему божественное, то, утверждаясь, не должно ничего записывать вовсе, чтобы дать нам почувствовать, что любой написанный закон только необходимое зло, порожденное немощью и человеческим лукавством, и что он не значит ничего, если не получил предварительной и неписанной санкции.

**XXII.** Вот почему нужно стенать над ложным умозаключением системы (протестантизма — прим. пер.), которая столь печально разделила Европу. Приверженцы этой системы говорили: «*Мы веруем только в слово Господне...*» Какое злоупотребление словами! Какое странное и пагубное забвение божественных вещей! Мы одни веруем *в слово*, а наши *дражайшие враги* упрямятся, веруя лишь *в писание*. О, если бы Бог смог или пожелал изменить природу сотворенных им вещей, сообщив написанному жизнь и действительность, коими оно не обладает! Но является ли Священ-

ное Писание *собственно писанием*? Было ли оно составлено *при помощи пера и малого количества черных чернил*? *Знает ли оно, что должно сказать одному человеку и утаить от другого* (30)? Лейбниц со своим сервантом не читал ли то же самое, что в написано в писании? Быть может, это писание нечто иное, чем *Портрет Слова*? Пусть даже оно бесконечно уважаемое в этом отношении, все же так и подстегивает его спросить, *а стоит ли ему сохранять божественное безмолвие* (31)? Если его подвергают нападкам или оскорбляют, *может ли оно защитить себя в отступстве своего отца*? Слава истине! Если вечно живое Слово не животворит писание, никогда последнему не стать *Словом*, то есть *Жизнью*. Пусть другие взывают так, как им заблагорассудится к БЕЗМОЛВНОМУ СЛОВУ: мы мирно посмеемся над сим *Ложным божеством*, постоянно и с нежной нетерпеливостью ожидая мига, когда впавшие в заблуждение его сторонники бросятся в наши объятия, открытые для них уже почти три столетия.

**XXIII.** Всякий здравый рассудок хотя бы убедится здесь мало-мальски, что стоит поразмышлять над этой аксиомой, поразительной как по своей значимости, так и по своей универсальности. Вот она: НИЧТО ВЕЛИКОЕ НЕ ИМЕЕТ ВЕЛИКИХ ИСТОКОВ. В истории всех веков не найдется ни разу исключения из этого правила. *Crescit occulto velut arbor aevo* — это извечный девиз всякого великого установления; и отсюда выходит, что всякое ложное установление, чувствуя свою слабость, много пишет в поисках опоры. От истины, которую я выразил, проистекает нерушимый вывод, что на писаном законе нигде нельзя заложить основы великого установления, ибо сами люди, послушные орудия государства, не ведают, как оно должно устанавливаться, и что его незаметный рост есть верный признак долговечности во всех возможных порядках вещей. Прекрасный пример подобного рода заключается во власти Суверенных Понтификов, которую я не собираюсь рассматривать здесь в догматическом плане. Многие искусные писатели потратили, начиная с XVI столетия, огромный запал эрудиции, дабы установить, обратившись к колыбели Христианства, что Римские епископы не являлись в свои ранние века теми, кем стали потом, взяв, таким образом, за отправную точку, будто все не найденное в первые столетия Христианства есть заблуждение. О чем я скажу без малейшего напряжения ума и притязания кого-то шокировать: они показывают этим столько философии и истинного знания, как если бы искали по детской пеленке подлинные размеры взрослого человека. Государственность, о которой я говорю сию минуту, родилась и возросла, подобно другим. Жалко наблюдать блестящие умы, не щадящие себя и доказывающие детством, будто возмужалость есть заблуждение; тогда как некое установление, сделавшееся взрослым, является прежде всего абсурдностью, настоящим логическим противоречием. Если просвещенные и великодушные недруги означенной выше власти (безусловно, она обладает многими подобного рода), исследуют вопрос

с этой точки зрения, о чем я их прошу с любовью, не сомневаюсь, что все возражения, взятые из древности, исчезнут в их глазах как легкий туман.

Что касается заблуждения, то им я не обязан и вовсе здесь заниматься. Но поскольку этой теме коснулось мое перо, скажу только, что лучше опустить напыщенные речи, которые последнее столетие преподнесло для чтения по этому вопросу. Придет время, когда Папы, удостоившиеся больше всего воплей против себя, подобные Григорию VII, к примеру, станут рассматриваться во всех странах, как Друзья, Попечители, Спасители рода человеческого, как истинные гении, создавшие Европу.

Никто в том и не усомнится, когда французские Ученые станут Христианами и когда английские Ученые станут Католиками, что и должно произойти однажды.

**XXIV.** Но какое проникновенное слово в сей миг самодовольного столетия, где все написано и перемешано с болтовней, могло бы заставить нас понять и даже поверить, что люди способны создавать Конституции, языки и даже Суверенитеты? В столетие, для которого все реальности являются измышлениями, а все измышления — реальностями; которое не видит даже того, что происходит у него на глазах; которое насыщается книгами, спеша получить двусмысленные уроки у Фукидида или Тита Ливия, и всячески закрывает глаза на правду, разлитую в современных газетах?

Если бы чаяния простого смертного удостоились постичь Провидение в одном из его незабвенных решений, формирующих исторические эпохи, я бы попросил Провидение вдохновить какую-нибудь сильную Nation, которая бы тяжело оскорбила его из-за дерзкой мысли о самостоятельном политическом образовании, начиная с самих своих основ. И если бы, несмотря на мою недостойность, мне была бы позволительна древняя принужденность Патриарха, я бы воскликнул: «Дай этой нации разум, знание, богатство, доблесть, непомерную самоуверенность, одновременно уступчивый и предприимчивый гений, которого ничего не стесняет и ничего не смущает. Угаси ее древнее правление, лиши ее памяти, убей ее привязанности. Распространи вокруг нее ужас, слепость и ущербность ее врагов, повели победе соблюдать сразу все ее границы, чтобы никто из ее соседей не смог бы вмешаться в ее дела и воспрепятствовать в ее деяниях. Дабы эта Nation была бы славной в Науках, богатой на философов, опьяненной от человеческого могущества, свободной от всякого предрассудка, от всякой связи и от всякого высшего влияния. Дай ей все, что она пожелает из страха, чтобы она не смогла сказать однажды: «Этого мне не хватало или то мне помешало». Чтобы она, наконец, свободно использовала безграничные возможности, став под твоим неумолимым покровительством вечным уроком для человеческого рода».

**XXV.** Нельзя, безусловно, ожидать совпадения обстоятельств, которое бы явилось буквально чудом, но события подобного порядка, пусть и менее выдающиеся, видны то здесь, то там в истории, и даже в истории

нашего времени; и если они, к примеру, вовсе не имели такой идеальной силы, какой мне внезапно захотелось, они все же заключают в себе немало предостережений.

Меньше двадцати пяти лет тому назад мы стали свидетелями торжественного усилия, предпринятого для возрождения одной великой, но смертельно больной Нации. Это был первый опыт большого труда и *Предисловием*, если можно так выразиться, жуткой книги, которую нам довелось читать. Были приняты все меры предосторожности. Мудрецы страны даже полагали должным советоваться с современным божеством в его странном святилище. Писали в *Дельфы*, и два знаменитых Понтифика торжественно отвечали (32). Произносившиеся по этому случаю оракулы вовсе не являлись, как прежде, легкими листьями, забавой ветров. Они устанавливали связь:

... *Quidque hoes Sapientia posset,  
Tunc patuit...*

Справедливо, впрочем, это признавать: в том, что Нация обязана только своему здравому смыслу, содержатся вещи, которым можно поражаться еще и сегодня. Все обычаи, несомненно, сошлись над мудрой и августейшей головой, призванной объять бразды Правления. Главные заинтересованные в поддержке старых законов добровольно принесли себя в жертву общественному благу, и чтобы укрепить верховную власть, они приготовились изменить и определение Державности. Увы! Любой человеческой мудрости недостает для этого, и все заканчивается смертью.

**XXVI.** Скажут: «*Нам известны причины, нарушившие ход предприятия*». Каким образом? Неужели Бог посылал Ангелов в человеческой плоти с целью внести раскол в установление? Или, скорее, все произошло из-за действия вторичных причин, неважно каких? Все орудия хороши в руках великого делателя, но таково уж ослепление людей, что если завтра некоторые подрядчики от Конституции еще пойдут создавать народ, образовав его *при помощи малого количества черных чернил*, то толпа поспешит уверовать в объявленное чудо. *Все в порядке, все предсказуемо, все записано*; тогда как если бы и впрямь было бы все предсказуемо, обговорено и записано, то было бы доказано, что Конституция — ничто, и представляет из себя лишь эфемерную видимость.

**XXVII.** Думаю, некоторые люди читали, *что малое число государств в состоянии предъявить доказательства своего легитимного происхождения*. Признав справедливость утверждения, мы не бросим ни малейшей тени на Наследников Вождя, Деяния которого могли бы подвергнуться определенным возражениям. Туман, более или менее скрывающий происхождение его власти являлся лишь помехой, необходимым следствием морального закона. Если бы было по-иному, то выходило бы, что Суверен мог править лишь благодаря решению всякого люда, то есть «*по*

*милости народной*», чего не случится никогда, ибо ничто так не истинно, как сказанное автором «*Рассуждений о Франции*»: «*Народ всегда будет принимать своих Господ, но никогда не избирать их*» (33). Нужно всегда, чтобы происхождение государственности оказывалось бы за пределами человеческой власти, чтобы люди, которые бы напрямую олицетворялись с ней, являлись бы только ее условностями. Относительно легитимности: если бы в своем истоке она могла бы и казаться двусмысленной, то Бог выражает себя в своем премьер-министре, в деле этого мира, называемом *Временем*. Все же вполне закономерно, что определенные современные предназначения при ближайшем рассмотрении мало ошибаются, но подробности этого относятся к ведению другого произведения.

**XXVIII.** Итак, все нас приводит к общему заключению: *человек не способен создать Конституцию, и нигде никакая легитимная Конституция не могла быть написана*. Никогда не писали и никогда не будут писать *a priori* сборник основных Законов, которые должны создавать гражданское или религиозное Общество. Только когда общество окажется уже созданным, непонятно каким образом, возможно продекларировать или растолковать в письменном виде некоторые частные статьи. Однако почти всегда эти декларации являются следствием или причиной огромного зла; и всегда они обходятся народу дороже, чем стоят на самом деле.

**XXIX.** Из этого общего правила, *что никакая Конституция не в состоянии быть написана или создана a priori*, известно только одно исключение — законодательство Моисея. Оно одно было *высечено* будто статуя и прописана до малейших подробностей изумительным человеком, сказавшим: «*ГИАТ! ДА БУДЕТ ТАК!*» С тех пор его труд никогда не нуждался ни в его исправлениях, ни в исправлениях других людей, а также в дополнениях или видоизменениях. Лишь Моисеево законодательство могло не бояться времени, ибо оно не было обязано ему ничем и ничего от него не ожидало. Оно одно пережило пятнадцать веков, и даже по прошествии новых восемнадцати столетий, начиная с великого Проклятия, поразившего его в означенный день, мы видим его словно бы живущим иной жизнью, укрепляющим еще неведомо какой таинственной связью, что за гранью всякого человеческого определения, разные семьи народа, пребывающего в рассеянии, но не разделенного. Оно подобно притяжению, и посредством той же самой силы оно действует на расстоянии, делая одним целым не соприкасающиеся между собой части. С очевидностью для всякого пронизательного сознания получается, что это законодательство лежит по ту сторону окружности, положившей пределы человеческой власти. Это великопепное исключение из общего правила, случившееся только единожды и только благодаря его создателю, доказывает божественную миссию Законодателя Евреев намного лучше, чем целая книга одного английского Прелата, который, своенравно используя огромную эрудицию, имел несчастье обосновать большую истину весьма грустным иносказанием.

**XXX.** Но поскольку всякое установление божественно по своему началу, то выходит, что человек ни на что не способен в этом роде, по крайней мере, если он не опирается на Бога, коего орудием становится (34). Это истина, о которой род человеческий в целом не переставал свидетельствовать. Раскроем страницы истории, являющейся экспериментальной политикой, и мы увидим в них, как неусыпно вокруг колыбели Наций бдили Жрецы, и Божество призывалось на помощь человеческой слабости (35). Миф намного вернее, чем древняя История, для искусственного ума спешит подтвердить доказательство. Это повсеместно оракул, устанавливающий города, объявляющий о божественном покровительстве и успехах Героя-основателя. В особенности Цари, вожди возникающих Империй, непременно отмечены и почти всегда запечатлены Небом неким необыкновенным образом (36). До какой степени легкомысленные люди смогут насмехаться над *Священной Ампулой* (сосуд с миром для помазания французских королей, полученный Хлодвигом при принятии христианства — прим. пер.), не ведая того, что она является иероглифом, требующим вдумчивого прочтения (37)?

**XXXI.** Тайнство помазания Царей принадлежит к тому же самому корню. Никогда не было обряда или, выразимся яснее, Исповедания Веры наиболее знаменательного и значительного. Всегда персты Понтифика касались чела возводимого на Царство. Многие писатели, которые мнили в сих августейших ритуалах лишь честолюбивые устремления и даже нарочитый сговор между Суеверием и Тиранией, грешили не только против Истины, но даже против собственной совести. Эта тема достойна рассмотрения. Иногда Правители искали Помазания, иногда же Помазание искало Самодержцев. Другие отвергали Помазание как признак зависимости. Мы знаем достаточно фактов, чтобы вполне здраво об этом судить: понадобится только тщательно различать Людей, Времена, Нации и Культы. И этого довольно в отстаивании общего и вечного воззрения, вызывающего к божественному Могууществу для учреждения Империй.

**XXXII.** Наиболее знаменитые, наиболее значимые и наиболее мудрые Нации древности, каковы Египтяне, Этруски, Лакедемоняне и Римляне, непременно обладали самыми религиозными Конституциями, и долговечность Империй всегда была тождественна степени влияния, которое религиозное начало обретало в политической Конституции: «Города и Народы, наиболее приверженные божественному Культуре, всегда являлись самыми долговечными и самыми благоразумными, подобно тому, как и самые религиозные столетия были наиболее прославлены гением» (38).

**XXXIII.** Всегда Народы просвещались только благодаря Религии. Никакое иное средство не действовало на дикого человека. Не прибегая к древности, которая весьма откровенна на сей счет, взглянем на ошутимое доказательство этого в Америке. Вот уже три столетия мы нахо-

димся там с нашими Законами, нашими Искусствами, нашими Знаниями и нашей Роскошью. Чем мы повлияли на дикое состояние? Ничем. Мы уничтожаем этих несчастных огнем и водкой; мы их хладнокровно изгоняем вглубь пустынь, пока они, жертвы наших пороков и нашего ужасного превосходства, наконец, не исчезнут вовсе.

**XXXIV.** Что за философ, когда-то задумавший бросить Родину и свои удовольствия, чтобы удалиться в леса Америки на поиск дикарей и отвратить их от всех варварских пороков, дав им мораль (39)? Такие философы сделали большее: они сочинили прекрасные книги, чтобы доказать, что дикарь был *естественным* человеком, и мы не могли желать себе ничего лучшего, как уподобиться ему. Кондорсе сказал, что *Миссионеры принесли в Азию и Америку только постыдные суеверия* (40). Руссо говорил с двойным безумием воистину немислимое, дескать, *Миссионеры ему ничем не казались более мудрыми, чем Завоеватели* (41). Наконец их корифей осмелился (и как он не растерялся?) подвергнуть самому грубому осмеянию мирных Завоевателей, которых обожествляла Античность (42).

**XXXV.** Это именно те Миссионеры, кто совершал чудеса героизма свыше физических сил и самой человеческой воли. Они одни от края и до края пересекли Американский континент, чтобы сотворить здесь людей. Они одни сделали то, что Политика не осмеливалась даже вообразить. Но ничего в этом роде не сравнимо с парагвайской миссией: именно в ней проявились наиболее выдающийся авторитет и исключительное господство Религии во имя просвещения людей. Это чудо превозносилось, но недостаточно: дух XVIII столетия и иной дух, его сообщник, смогли частично заглушить голос справедливости и даже возглас восхищения. Возможно однажды (ибо стоит надеяться, что сии великие труды возобновятся) посреди роскошного града, раскинувшегося в древней *Саванне*, Отцу этих Миссионеров (Святому Доминику — прим. пер.) воздвигнут статую, на пьедестале которой можно будет прочесть:

#### ХРИСТИАНСКОМУ ОСИРИСУ

*посланники которого прошли по всей Земле,  
чтоб человека оторвать от горя,  
забитости и злобы,  
и преподав ему искусство земледельца,  
законы дав ему,  
поведав знание о Боге и научив его служить -  
так приручила братия несчастного туземца.  
НЕ СИЛОЮ ОРУЖИЯ. О, НЕТ.  
в которой не было им никакой нужды,  
но кротким убеждением и песнопеньем добрым,  
И СИЛОЮ ПСАЛМОВ,  
когда казалось будто Ангелы они (43).*



**XXXVI.** Когда размышляют о том, что сей законодательный орден, правивший в Парагвае только возрастанiem добродетелей и дарований, ничуть не отстранялся от самого смиренного подчинения законной власти; я добавлю, что этот орден тогда же смело шел в наши тюрьмы, госпитали, лазареты, повсюду, где горе, болезнь и отчаяние наиболее чудовищны и отталкивающи, что те же самые люди, которые по первому зову удалялись довольствоваться соломенной подстилкой в туземном краю, не чурались также изысканного общества; что они поднимались на эшафоты *говорить последние напутствия* жертвам человеческого правосудия, что они от этих позорных зрелищ устремлялись на амвоны, чтобы грозно поведать о них Королям (44); что они пользовались *кистью* в Китае, а телескопом в наших обсерваториях, лирой Орфея среди дикарей, что они возвысили все столетие Людовика XIV. Когда размышляют, наконец, о том, как мерзкая коалиция развратных Министров, пребывающих в безумии Сановников и подлых сектантов смогла в наши дни уничтожить сие удивительное учреждение и рукоплескать содеянному, мне представляется сумасшедший, торжественно наступивший ногой на часы и сказавший им: «*Теперь я вам помешаю шуметь*». Но что я в самом деле говорю? Ведь сумасшедший не виновен.

**XXXVII.** Я был бы обязан принципиально настаивать на создании Империй как на самой важной теме, но все человеческие установления подчинены одному и тому же правилу, и любые из них являются ничтожными или опасными, если не имеют под собой жизненных основ. Принимая сей неоспоримый закон, что думать о поколении, которое буквально все, вплоть до самих основ общественного строения, зависло в воздухе, сделав воспитание чисто научным? Невозможно заблуждаться более ужасным образом, ибо всякая система, не покоящаяся на Религии, погибнет в мгновение ока или разольет яд по всему Государству. *Религия*, как превосходно говаривал Бэкон, *есть Аромат, который мешает науке испортиться*.

**XXXVIII.** Зачастую задавали вопрос: «*Зачем нужна богословская Школа каждому Университету?*». Ответ прост: «*Для того, чтобы существовали Университеты и чтобы обучение не испортилось*». Первоначально Университеты являлись только теологическими Школами, вокруг которых собирались другие *Факультеты*, как подданные вокруг Королевы. Основанное на этом фундаменте Здание общественного образования дожило до наших дней. Сокрушившие его у себя будут затем бесполезно и долго сожалеть. Ведь чтобы поджечь город достаточно ребенка или безумца, но чтобы его восстановить необходимы архитекторы, строительные материалы, рабочие, миллионы и, конечно же, время.

**XXXIX.** Те, кто, сохраняя внешние образовательные формы, радуются разрушению древних установлений, возможно приносят не меньше же зла роду человеческому. Уже совершенно известно влияние современных Университетов на нравы и национальный дух на значительной части

Европейского континента (45). Английские университеты сохранили на сей счет больше репутации, чем другие, думается, оттого, что Англичане умеют больше молчать о себе или больше себя нахваливать. Хотя, вероятно, и потому, что общественное мнение, обладающее необыкновенной силой в этой стране, смогло лучше защитить здесь, нежели в иных местах, сии почтенные школы от общего проклятия. Но нужно, чтобы и они пали, и тогда холодное сердце Гиббона удостоило бы нас странными откровениями на заданную тему (46). Итак, не отходя от общих положений, подытожим: если в образовательном деле не прибегать к изречениям древних, если не отдать воспитание Священству и если повсеместно не поставить науку на второе место, нас ожидают неисчислимы бедствия: мы отупеем от науки, и это — последняя степень слабоумия.

**XL.** Человеку нисколько не присуще не только творение, но кажется даже, что наша власть *не способна* простираться до тех пор, чтобы изменить в лучшие стороны созданные установления. Если что-то и очевидно человеку, так это существование двух противоположных сил, непрестанно борющихся во Вселенной. Добро есть тогда, когда зло не оскверняет и не искажает; а зло тогда, когда добро его не вытесняет, не гонит и не подталкивает постоянно все сущее к более совершенному состоянию (47). Эти две силы присутствуют повсюду: они обнаруживаются в вегетации растений, в зарождении животных, в происхождении языков и образовании Империй (две нераздельные вещи) и т. д. Человеческое могущество доходит только до отстраненности от зла или борьбы с ним, дабы освободить от него добро, дав последнему возможность развиваться согласно своему естеству. Знаменитый Занотти сказал: «*Сложно изменить вещи в лучшую сторону*» (48). Эта мысль таит в себе великий смысл, пусть и представляется сугубо простой. Она совершенно соответствует другой мысли Оригена, которая стоит хорошей книги. «*Ничто, — говорит он, — не может измениться в лучшую сторону в людях БЕЗБОЖНО*» (49). Все люди ощущают эту истину, даже не отдавая себе в том отчет. Отсюда и машинальная неприязнь всех здравомыслящих людей к нововведениям. Слово *Реформа* само по себе и прежде всякого рассмотрения всегда будет подозрительным для благоразумия, и опыт всех столетий подтверждает подобный вид инстинкта. Слишком хорошо известно, каковым оказался плод самых прекрасных умпостроений данного рода (50).

**XLI.** Если применить эти общие максимы к частному случаю, рассматривая крайнюю опасность нововведений, обоснованных простыми человеческими теориями, то, не обладая даже решительным возражением по проблемному вопросу парламентской реформы, столь сильно взволновавшему умы в Англии, я своим чутьем склонен полагать, что сама эта идея губительна, и если Англичане ей слишком рьяно увлеклись, то будут раскаиваться впоследствии. «*Но, — скажут сторонники реформы (по скольку это веский довод), — заблуждения поразительны и бесспорны.*

Итак, *формальное заблуждение, порок, может ли являться конституционным?* Увы, безусловно, он может таковым быть, ибо всякая политическая конституция имеет существенные недостатки, которые зависят от ее природы и от которых невозможно избавиться: именно это должно заставлять содрогаться всех реформаторов, ведь сами недостатки способны видоизменяться в соответствии с обстоятельствами; таким образом, обнаружив их уже как новые, никто не замечал, что они совсем не являются необходимыми (51). Какой благоразумный человек не содрогнется, приступая своей рукой к работе? Социальная гармония покоится на законе *смягчения (temperament)*, подобно тому как гармония в прямом смысле *на владении музыкальным инструментом*. Настройте правильно *квинты, и октавы* будут взаимно гармонировать. Значит, диссонанс неизбежен: его изгнать невозможно, но нужно его *смягчить (temperer)*, распределив равномерно. С обеих сторон выходит, что недостаток есть элемент возможного совершенства. Этот посыл парадоксален только по форме. «Но, — вероятно спросят еще, — *где правило различения случайного недостатка и того, что заключается в природе вещей и что невозможно удалить?*» Подобные вопросы задают люди, которым природа ничего не дала, кроме ушей; и те, кто имеют хороший слух, пожимают плечами.

**XLII.** Когда вопрос касается заблуждения, нужно весьма остерегаться судить о политических установлениях лишь по их постоянным следствиям, а порой по каким-нибудь их малозначимым причинам (52) со своими определенными побочными неуместностями (если позволительно так выразиться), которые легко овладевают взглядами слыбых, мешая им видеть полную картину. В действительности причина, исходя из казалась бы доказанной гипотезы, не обязана иметь никакого логического соотношения со следствием; и неуместности благого установления сами по себе, о чем я сейчас говорил, бывают только неизбежным *диссонансом в настройке общей клавиатуры*. И как можно тогда судить об установлениях по причинам и неуместностям? На протяжении столетия высказывавшийся обо всем Вольтер, в чем постоянно оставался поверхностным (53), сделал забавное умозаключение о продаже судейских должностей, имевшей место во Франции: никакой другой пример, судя по всему, не будет способен отразить истину излагаемой мной теории. Вольтер говорит: «*Доказательство того, что эта продажа является заблуждением только в том, что она была порождена иным заблуждением*» (54).

Вольтер не ошибается здесь как всякий человек, коему свойственно ошибаться. Он ошибается постыдно. Это полное затмение здравого смысла. *Все произошедшее от заблуждения есть заблуждение!* Напротив, это один из самых общих и очевидных законов одновременно скрытой и поражающей силы, который действует и становится ощутимым со всякой стороны, когда лекарство от заблуждения порождается в самом заблужде-

нии, и когда зло, дойдя до определенной точки, уничтожает самого себя: так и должно быть, ибо зло, будучи лишь отрицанием, имеет в качестве пределов протяженности и долговечности пределы сущности, к которой оно прилепляется и которую оно пожирает. Оно существует подобно червоточине, которая не может пройти, не завершившись. И тогда новая реальность и Благо непременно устремляются на место исчезнувшей, *ведь природа не терпит пустоты...* Но я слишком удаляюсь от Вольтера.

**XLIII.** Заблуждение Вольтера происходило от того, что этот великий писатель, *растерзанный двадцатью науками*, как он несколько отстраненно говаривал сам о себе, и постоянно занятый поучением Вселенной, очень мало имел времени на раздумья. «Сладострастный и расточительный двор, доведенный до истощения в своих казнокрадствах, воображает продавать судейские должности, и создает, таким образом...» (чего он никогда не смог бы делать свободно и явно), «он создает», повторю, «богатый, несменяемый и независимый суд; так безмерная власть, *которая забавляется во Вселенной* (55) использует коррупцию, чтобы создать неподкупные суды» (насколько это позволяет человеческая слабость). Нет ничего поистине столь же допустимого для взгляда подлинного философа; ничего более соответствующего великим аналогиям и неоспоримому закону, который хочет, чтобы самые важные установления были бы результатом обстоятельств, но никак не результатом обсуждения. Вот уже при своей постановке почти разрешенная проблема, поскольку относится ко всем проблемам. *Страна, подобная Франции, могла ли быть лучше судима, чем наследственными Судами?* Если решается отрицательно, как я и предполагаю, нужно будет сразу же поставить вторую проблему: «*Прежде чем стать наследственным, обладает ли Суд, дабы сначала образоваться, а затем комплектоваться, более превосходным способом, чем тот, посредством которого бросают миллионы денег по самой низкой цене в сундуки Самодержца, способ, который в то же самое время удостоверяет богатство, независимость и даже благородство (какое бы то ни было) верховных судей?*» Если продажность рассматривают лишь как средство наследования, то всякий благоразумный человек поражен данной, по сути верной точке зрения. Здесь совсем не место углубляться в вопрос: этого достаточно, чтобы доказать, что не только Вольтер сумел его разглядеть.

**XLIV.** Представим теперь во главе дел человека, подобного ему, счастливо сочетающего в себе легкомысленность, бездарность и дерзость: он не преминет потрудиться, следуя своим сумасбродным теориям о законе и заблуждении. Он одолжит пятнадцать денье, чтобы вернуть должностями кредиторам по цене пятьдесят денье; он подготовит умы посредством множества оплаченных бумаг, которые обесчестят суд, лишив его общественного доверия. Вскоре протекция, что в тысячу раз глупее, чем случайность, откроет бесконечный счет его оплошностям: благовоспитан-

ный подданный, не видя больше в наследовании противовеса удручающим трудам, устранился безвозвратно; и большие трибуналы будут отданы на откуп безымянным, неудачливым и неосмотрительным проходимцам. Вместо того, чтобы из-за этого почтенного Суда, в коем добродетель и знание сделались наследственными, как его достоинства, подлинным священством, Франции могли бы завидовать иные Народы до тех пор, пока ложная философия, не изъяв истину отовсюду, где она водилась, не изгнав ее от себя самой, не завершила бы столь прекрасные начинания.

**XLIV.** Такова естественная картина большинства реформ, ибо человеку не только неприсущ дар творения, но и само реформирование свойственно ему лишь вторичным образом с множеством страшных ограничений. Исходя из этих неоспоримых принципов, каждый человек способен судить установления своей страны с совершенной достоверностью; он способен оценивать всех этих *Творцов, Законодателей, Воссоздателей* Наций, столь дорогих XVIII столетию, на которых Потомство будет смотреть с жалостью, быть может, даже с ужасом. Были воздвигнуты картонные замки в Европе и за ее пределами. Подробности этого были отвратительны; но у нас хватает уважения к любому, кто просит рассматривать и судить людей, по крайней мере, по событию, если им упорно отказано во всяком ином виде наставления. Соответствуя Творцу, Человек возвышен, и его действие является творческим: наоборот, с того момента, как Человек отделяется от Бога, он действует лишь один, он не перестает быть сильным, ибо это преимущество его естества, но его деяние негативно и приводит только к уничтожению.

**XLVI.** В истории всех столетий нет ни одного факта, противоречащего этим максимам. Никакое человеческое установление не в состоянии быть долговечным, если оно не поддерживается десницей, поддерживающей все; иными словами, если оно не было ей освящено в своем происхождении. Когда установление будет более проникнуто божественным началом, оно будет и более долговечным. Странное ослепление людей нашего столетия! Они восхваляют свою просвещенность, и они во всем невежественны, ибо не ведают самих себя. Они не знают ни того, кто они есть, ни того, что они могут. Необузданная гордыня их непрерывно ведет к сокрушению всего того, что они не создавали; и дабы производить новые творения, они отделяются от начала всякого существования. Жан-Жак Руссо, тем не менее, прекрасно высказался: *«Ничтожный и тщеславный человек, покажи мне свою силу, и я тебе покажу твою слабость»*. Можно выразиться с такой же истиной, но большей пользой: *«Ничтожный и тщеславный человек, исповедуйся мне в своей слабости, и я покажу тебе твою силу»*. И в самом деле, с тех пор как человек признал свою ничтожность, он сделал огромный шаг вперед, ибо ему пристало искать опоры, с которой ему все по плечу. Сие в точности противоположно тому, что творило минувшее столетие (увы! оно закончилось только в наших кален-

дарях). Исследуйте все его начинания, его всяческие установления, и вы увидите его непрестанно старающимся отделить их от Божества. Человек возмнил себя независимым существом, и он проповедовал настоящий практический атеизм, быть может, более опасный и более преступный, нежели теоретический.

**XLVII.** Уведенный этими суетными знаниями от науки, в которой он реально заинтересован, Человек возмнил, будто обладал властью *творить*, тогда как имел только власть *называть*. Он возмнил — он, который не мог произвести даже насекомого или побега мха — будто сам являлся непосредственным создателем Государственности, самой важной, самой сакральной и наиболее фундаментальной вещи морального и политического бытия (56). Будто определенное семейство правит лишь потому, что так пожелал народ, хотя он располагал неоспоримыми доказательствами того, что всякое царственное семейство правит, поскольку избрано высшей силой. Если же он не видит этих доказательств, то либо закрывает глаза, либо рассматривает их слишком близко. Он возмнил, будто сам изобрел языки, хотя ему пока очевидно, что всякий язык *изучаем*, но никак не *изобретаем*, и никакая воображаемая гипотеза не в силах объяснить даже с малейшей долей вероятности ни происхождение, ни разнообразие языков. Он возмнил, будто был в состоянии создавать Нации, иными словами, *он мог создавать национальное единство, благодаря которому одна нация не является другой*. Наконец, Человек возмнил, что, обладая властью творить установления, он с еще большим основанием мог позаимствовать их Нациям, передав их из всего сделанного собой с именем, коим они нарекались у этих народов, чтобы его использовать, подобно им, с теми же самыми преимуществами. Французские документы меня снабжают на сей счет исключительным примером.

**XLVIII.** Несколько лет назад Французы вздумали учредить в Париже некие бега, которые всерьез называли в каких-то писаниях на потребу дня *Олимпийскими Играми*. Смысл того, что измышлялось или восстанавливалось это прекрасное название, был ясен. Дескать, *«бежали пешим ходом и скакали на конях на берегах Алфея; бегут и скачут на берегах Сены: значит, это одно и то же»*. Нет ничего проще. Однако, не спрашивая их о том, почему они не подумали назвать эти Игры *Парижскими*, вместо *Олимпийских*, хотелось бы сделать иные замечания на сей счет. Так, чтобы установить *Олимпийские Игры* греки советовались с Оракулами: Боги и Герои вмешивались в это дело; Игры никогда не начинались без совершения жертвоприношений и иных религиозных церемоний, их рассматривали как великие Комиции Греции, и не было ничего более величественного. Но Парижане, учредив свои бега, *воспринятые от Греков*, поспешили ли в Рим *ad limina apostolorum*, чтобы посоветоваться с Папой? Отслужили ли они Обедню, прежде чем сломя голову броситься на потеху лавочникам? Ради какой большой политической цели устраива-

лись эти бега? Как звали Учредителей? Все это излишне: здравый смысл по обыкновению изначально чувствует ничтожность и даже смехотворность данной имитации.

**XLVIX.** Тем не менее в Журнале, писавшемся остроумными людьми, несчастная ошибка которых заключалась лишь в пропаганде современных учений, несколько лет назад был опубликован следующий пассаж, касающийся этих состязаний, внушенный веселым воодушевлением:

*«Я предсказываю: Французские Олимпийские Игры увлекут однажды Европу на Марсово Поле. Какую бесстрастную и невосприимчивую к эмоциям душу имеют те, кто не замечают этих соревнований? Я сам вижу в них зрелище, равного которому никогда не было во Вселенной, начиная с игр Элиды, где Греция выставляла себя напоказ Греции. Нет, цирки Римлян, Турниры нашего Древнего Рыцарства к ним и не приближались» (57).*

Я сам верю и даже знаю: всякое человеческое установление недолговечно, если оно не обладает религиозной основой; и более того (прошу больше обратить на это внимание), если ему нет названия на национальном языке, и если оно не произошло само по себе без всякого известного и предварительного обсуждения.

**L.** Теория имен есть предмет большой значимости. Имена отнюдь не являются произвольными, как о том утверждало столько людей, потерявших свои имена. Бог себя именует: «Я есмь». И всякая тварь называется: «Я таково». Имя высшего существа было непременно связано с его действием, являющимся его отличительным качеством, и отсюда получалось, что у Древних самой великой почестью Божества считалось Полионимия (*Polyonymie*), то есть именовое множество, свидетельствованное о функциональном множестве или протяженности могущества. Античная Мифология нам показывает Диану, еще ребенком просившей об этой почести Зевса; и в стихах, приписываемых Орфею, она восхваляется под именем Демона Полионима (Многоименный Ангел) (58). По существу только один Бог имеет право давать имя. И в самом деле он все наименовал, поскольку все создал. Он дал имена звездам (59); он дал их и духам, и из этих последних имен Писание произносит только три, но все три имени связаны с предназначением сих Посланников. Также и с людьми, которых Бог пожелал сам назвать, о чем нам неоднократно сообщало Писание: имена всегда связаны с действием (60). Но не говорилось ли, что в грядущем Царствии он наречет победителей НОВЫМ ИМЕНЕМ (61), в зависимости от их подвигов? И люди, созданные по образу Божию, находили ли более торжественный способ вознаграждения победителей, чем присвоение им нового имени, самого почетного из всего, по мнению людей, а также побежденных наций (62)? Всякий раз, когда человек предполагает изменить жизнь, обретая новый характер, он обычно берет новое имя. Это происходит при Крещении, Конфирмации,

вербовке Солдат, принятии Религии, освобождении рабов и т. д. Одним словом, имя всякого существа выражает то, чем он является, и в этом смысле нет ничего произвольного. Заурядное выражение «он имеет имя» или «он не имеет никакого имени» очень верно и выразительно; ни один человек не может быть причислен к тем, кого зовут в собрания и кто обладают именем (63), если его семья не отмечена признаком, который ее отличает от других.

**LI.** С Нациями обстоят дела как и с индивидами: есть среди них те, которые вовсе не имеют имени. Геродот отмечает, что Фракийцы были бы самым сильным в Мире народом, если бы объединились. «Но, — добавляет он, — это объединение невозможно, поскольку они все имеют разное имя» (64). Прекрасное замечание. Существуют также современные народы, у которых нет никакого имени, а равно и другие, обладающие по несколько имен; но Полионимия (Многоименность) столь же вредна для Наций, сколь могла бы считаться предпочтительной для Ангелов.

**LII.** Итак, имена, не имея ничего произвольного, восходят в своем рождении, как всякие вещи, более или менее непосредственно к Богу, и не стоит думать, будто человек располагает правом называть без органичения даже именами, для которых он с определенным основанием может считаться автором, присваивая их в соответствии с возникающей у него идеей. Бог сохраняет в этом плане нечто подобное непосредственной юрисдикции, которую невозможно не признавать (65): «О, мой дорогой Гермоген! Это великая вещь присвоение имен, и она не может принадлежать ни злобному человеку, ни даже обыкновенному человеку... Это право принадлежит только Творцу имен (ономатургу) и, по-видимому, одному Законодателю; но из всех человеческих Существ самой редкой является только Законодатель» (66).

**LIII.** И все же человек не любит ничего так, как давать имена. И делает он это, когда применяет к вещам многозначительные эпитеты, в чем и заключается талант, отличающий большого писателя или особенно большого поэта. Удачное присвоение эпитета иллюстрирует существительное, которое становится известным в новом признаке (67). Примеры присутствуют во всех языках, но для нас они содержатся в языке народа, обладающего столь великим именем, что он дал его Вольности (*Franchise* — фр. вольность, привилегия, льгота; однокоренное слово со словами Франция (*France*), француз (*français*), франк (*franc*) и пр. — прим. пер.) либо Вольность его получила от него. Кто из образованных людей не знает жадного Ахерона, чутких Скакунов, постыдной Постели, робкой Мольбы, денежного Шелеста, быстрого Разрушителя, бледных льстецов и т. д. (68)? Никогда человек не забудет своих первоначальных прав; можно сказать даже, что он ими пользуется постоянно; но сколь он ограничил их своим грехопадением! Вот истинный Закон, как и установивший его Бог:

«Человеку запрещалось давать великие имена вещам, которых он создатель и которые мнит великими; но если он действовал законно, тогда обыкновенное имя вещи будет посредством нее же облагорожено, став великим».

**LIV.** То же самое правило действует, когда речь идет о материальных или политических созданиях. К примеру, в греческой истории нет ничего более известного, чем слово *Керамика*: Афины не знали слова более возвышенного. Спустя продолжительное время, когда Керамика утратила своих великих мужей и свое политическое существование, Аттик, будучи в Афинах, претенциозно писал своему знаменитому другу: «Я, находясь другой день в Керамике» и пр. Над чем и пошутил Цицерон в своем ответе (69). Что же означает само по себе такое знакомое слово, как *Черепица* (70)? Нет ничего более заурядного; но кровь героев, смешанная с землей, освятила землю, а земля осветило имя. Поразительно, что с таким разрывом времени и места то же самое слово ЧЕРЕПИЦА (собственно Керамика, а по-французски Tuileries, Тюильри — прим. пер.), некогда известное как название одного погребального места, было бы вновь прославлено в наименовании одного Дворца. Пребывавшая в *Тюильри* Власть и не подумала давать дворцу внушительное имя, которое являло бы определенное тождество с ним. Если бы она совершила эту ошибку, то не осталось бы причины, из-за чего завтра это место не населили бы мошенники и протитутки.

**LV.** Иная достаточно веская причина, пусть и не превышающая первую, должна нас заставить не доверяться всякому напыщенному имени, навязываемому *a priori*. Сим почти всегда человеческое сознание предупреждаемо об изъяне созданного произведения, ведь мятежная гордыня, не в силах ошибиться в себе самой, по меньшей мере, стремится, чтобы ошиблись другие, и изобретает почтенное имя, предполагающее совершенно противоположное достоинство; таким образом, имя здесь, вместо реального свидетельства о превосходстве произведения, становится подлинным признанием отличающего его изъяна. Столь богатое на все, что вообразимо ложного и смехотворного, восемнадцатое столетие явило на сей счет множество любопытных примеров в названиях книг, Эпиграфах, Надписях и иных вещах подобного рода. Так, к примеру, если вы читаете в заглавии одного из главных произведений данного столетия:

«*Tantum series juncturaque pottet!*  
*Tantum de medio sumptis accedit honoris!*»;

то вычеркните надменный Эпиграф, и смело замените его, прежде нежели раскрыть книгу и без малейшего страха прослыть несправедливым, на:

«*Rudis indigestaque moles;*  
*Non bene junctarum discordia semina rerum.*».

На самом деле хаос есть образ этой книги, и эпитафия выражает в высшей степени то, чего недостает произведению. Если вы читаете в заголовке «*Философская и политическая история*», знайте, прежде чем читать историю с таким названием, что она не является ни *философской*, ни *политической*; и более того, вы узнаете, прочитав ее, что это произведение буйно помешанного. Ну а если же человек осмеливается написать под своим портретом «*vitam impendere vero*»? Без всякого сведения о нем бейтесь об заклад, что это портрет лжеца, в чем он вам сам и признается однажды, когда размечтается сказать правду. Можно прочесть под другим портретом: «*Postgenitis hic carus erit, nunc carus amicis*». Не упоминается ли мгновенно сей стих, столь удачно позаимствованный в самом оригинале, чтобы изобразить в довольно однообразной манере следующее: «*Я имел поклонников, но не имел и друга*»? А в действительности, возможно, не существовало в литературном сословии человека меньше всего сделавшего для дружеского чувства и меньше всего достойного его воодушевить и т. д. Произведения и начинания иного рода подтверждают подобное наблюдение. Так, к примеру, если музыка у известной нации становится неожиданно делом государственной важности; если дух века сего, слепой во всех отношениях, наделяет это искусство фальшивой значимостью и ложным покровительством, весьма отличным от того, в котором бы она нуждалась; если, наконец, возводится храм *Музыке* под звучным и древним названием *ОДЕОНА*, — все это неопровержимое доказательство того, что искусство пребывает в упадке, и никто не должен удивляться, услышав в этой стране знаменитого критика, вскоре признавшего в достаточно ярком стиле, что ничего не мешает написать на фронте Храма «*ХВАЛЕБНАЯ ПАЛАТА*» (71).

**LVII.** Но, как я уже говорил, все это только наблюдение вторичного порядка. Вернемся к общему принципу: *человек не обладает, либо более не обладает правом называть вещи* (по крайней мере, в том смысле, который я разъяснил). Обратили бы лучше внимание на то, что самые почтенные имена во всех языках имеют самое заурядное происхождение. Никогда имя не тождественно вещи; всегда вещь иллюстрирует имя. Имени необходимо, так сказать, *семя*, без которого оно является ложным. Что означает изначально слово *Трон* — *Престол* или даже *Скамейку*? Что означает *Скипетр*? *Посох*, чтобы опираться (72). Но царский *Посох* намного отличался от всех других, и это имя в своем новом значении существует уже три тысячи лет. Что, как не слово *Трагедия* самое благородное в литературе и самое низкое по своему происхождению? (Трагедия в переводе с греческого — *песнь козла* — прим. пер.) И почти зловонное (*presque fetide*) имя *Знамени* (*Drapeau*), возвышенное и облагороженное копьем Воителей, какой случай преподнес его нашему языку? Ряд других имен более или менее подтверждают тот же самый принцип. Например, *Сенат*, *Диктатор*, *Консул*, *Император*, *Церковь*, *Кардинал*, *Маршал*

и т. д. Завершим именами *Коннетабля* и *Канцлера*, даваемых двум высшим званиям нынешних времен: первое обозначает только *Начальника Конюшни (Конюшего)* (73), а второе — *человека, стоящего за оградой* (дабы не быть отягощенным толпой просителей).

**LVII.** Итак, есть два непреложных правила, чтобы судить человеческие творения, какого бы вида они не являлись. Это — *Основа* и *Имя*. Когда они хорошо понимаются, то свободны от всякого извращения. Если основа чисто человеческая, общественное строение не может удержаться; появятся люди, которые его приведут в беспорядок, более того, они его вовлекут в обсуждение, в науку, *особенно в журналистику*, испытав человеческими средствами всякого рода, — и не будет установления более хрупкого. Сим правилом принципиально необходимо верить все то, что было предпринято Самодержцами или собраниями мужей для цивилизации, установления или возрождения народов.

**LVIII.** Наоборот, чем более установление божественно в своих основах, тем оно и более долговечно. Для большей ясности хорошо даже заметить, что религиозное начало по сути является творящим и сохраняющим с двух сторон. Во-первых, поскольку оно сильнее, нежели всякое другое, воздействует на человеческий дух, оно добивается от него выдающихся усилий. Таким образом, человек, к примеру, убежденный своими религиозными догматами, что это великое благо для него, что после его смерти его тело могло бы сохраниться во всей возможной целостности, дабы никакая бестактная рука профана не коснулась бы его; этот человек, исчерпав искусство бальзамирования, завершит сооружением египетских Пирамид. Во-вторых, религиозное начало, уже столь сильное, поскольку воздействует, бесконечно сильно и тем, что препятствует, ибо окружает почтением все взятое им под свое покровительство. Если осквернен простой булыжник, тотчас найдется причина избежать ему рук, способных отбросить или расколоть его. Земля покрыта доказательствами этой истины. *Этрусские вазы*, например, *сохраненные религией могил, дошли до наших дней, несмотря на их хрупкость, в большом количестве, нежели мраморные и бронзовые памятники той же самой эпохи* (74). Если хотите сохранить все, значит *освятите* все.

**LIX.** Второе правило, или правило имён, предстает не менее ясным и не менее определенным, чем предыдущее. Если имя присвоено собранию, если оно установлено предшествующим обсуждением, предваряя саму вещь, если имя помпезное (75), если оно обладает грамматическим тождеством с предметом, который должно представлять; наконец, если оно взято из иностранного языка, в особенности из древнего, и все признаки ничтожества налицо, то можно быть уверенным, что имя и вещь исчезнут в течение небольшого срока. Противоположные черты свидетельствуют о легитимности и, следовательно, о долговечности установления. Нужно остерегаться весьма легкомысленно подходить к этой теме. Никогда на-

стоящий философ не должен терять из виду язык, подлинный барометр, изменения которого непреложно объявляют о *добром или лихом времени*. Чтобы мне удостовериться во взгляде, изложенном здесь, достаточно сказать, что непомерное введение иностранных слов, применяемых к национальным установлениям всякого рода, является одним из наиболее безошибочных признаков моральной деградации народа.

**LX.** Если образование всех империй, развитие цивилизации и единодушное согласие всех историй и всех традиций недостаточны для нашего убеждения, то смерть империй завершит свидетельство, начавшееся в их происхождении. Поистине, религиозное начало все сотворило, но правда и то, что отсутствие этого начала все разрушило. Секта Эпикура, которую могли называть *древним неверием*, деградировала сначала сама, и разрушила затем все правления, имевшие несчастье дать ей доступ. Повсюду *Лукреций* провозглашал *Цезаря*.

Но все эксперименты минувшего исчезают перед ужасным примером, показанным последним столетием. Люди, еще опьяненные его парами, в целом, не готовы были для хладнокровного и откровенного созерцания этого примера и извлечения из него необходимых выводов; следовательно, самое главное направить все взоры на эту ужасную сцену.

**LXI.** На Земле всегда существовали религии, и всегда существовали безбожники, которые с ними боролись; безбожие всегда являлось преступлением, ибо как не могло быть религии без примеси истины, так не могло быть и безбожия, не боровшегося с религиозной истиной, пусть определенным образом и искаженной; *но настоящее безбожие может возникнуть только в среде истинной Религии*. Стало быть, безбожие никогда не могло произвести в минувшие времена зло, которое оно производило бы в наши дни, ибо его вина всегда зависит от окружающих его познаний. Исходя из данного правила, можно судить XVIII век, ибо с подобной точки зрения он не соответствует никакому другому столетию. Весьма обобщенно принято говорить, *будто все века похожи друг на друга, а все люди всегда были одними и теми же*, но нужно очень остерегаться доверять этим максимам, изобретенным ленью и легкомыслием для избавления от раздумий. Наоборот, все столетия и все нации являют собой собственный различаемый характер, который нужно тщательно исследовать. Несомненно, в мире всегда существовали пороки, но эти пороки могут различаться по количеству, естеству, доминирующему качеству и интенсивности (76). Хоть всегда и существовали безбожники, но никогда прежде XVIII столетия в Христианском мире не было восстания против Бога, и особенно никогда не наблюдалось кошунственного заговора всех дарваний против их создателя. Вот то, что мы видели в наши дни. Водевиль богохульствовал как Трагедия; и Роман как История и Физика. Люди этого века продали свое дарование безбожию, в соответствии с восхитительным выражением Святого

Людовика, «ОНИ ВЕЛИ ВОЙНУ С БОГОМ ЕГО ЖЕ ДАРАМИ» (77). Античное неверие никогда не сердится, иногда оно резонирует, обыкновенно высмеивает, но всегда без желчи. Даже Лукреций никогда не доходит до оскорбления, и хотя его мрачный и меланхолический характер заставлял его видеть вещи в черном цвете, даже он, когда обвиняет религию, причинившую столько зла, остается беспристрастным. Древние религии не стоили труда, чтобы современное безверие возмущалось бы против них.

**LXII.** Когда *Благая Весть* была оглашена во Вселенной, нападки стали неистовее. Однако ее враги соблюдали всегда определенную меру. Они только изредка и постоянно разобщенно возникают в истории. Никогда не видно ни их объединения, ни их оформившегося союза; никогда они не предаются исступлению, свидетелями которого мы являлись. Даже Бэйль, отец современного неверия, ни в чем не схож со своими последователями. В своих самых предосудительных отступлениях он не обнаруживает никакой страсти в убеждении, еще менее у него раздражительности и партийного духа; он не отрицает, по крайней мере, что сомневается; он высказывается за и против, зачастую даже он более красноречив в добром, нежели в злом (78).

**LXIII.** И лишь в первой половине XVIII века неверие стало реальной силой. Сначала видно, как оно распространяется из конца в конец с поразительной живостью. От дворца к хижине, оно проникает повсюду, оно заражает все; оно обладает невидимыми стезями, скрытым и непреложным действием, так что самый внимательный наблюдатель, очевидец цели, никогда не в силах раскрыть средства ее достижения. С потрясающим обаянием оно заставляет себя любить даже того, кому наисмертельный враг; и властью, данной ему над местом заклания, оно, глумясь, заключает жертву в объятия, прежде чем нанести удар последней. Вскоре простая система становится сложившимся сообществом, которое с последовательной быстротой переходит в заговор, и, наконец, сеть заговорщиков покрывает всю Европу.

**LXIV.** Тогда впервые оказывается, что это свойство присуще только XVIII веку. Это никак не прохладный тон безразличия, либо самое большее язвительной иронии скептицизма; это — смертельная баня; это — тон гнева и неистовства. Самые замечательные писатели той поры не считают больше христианство человеческим заблуждением, они его преследуют как главного врага, они с ним борются не на жизнь, а на смерть: это война на уничтожение. И казалось бы немислимим, если бы мы не имели печальных свидетельств перед своими глазами, что многие из этих людей, называвшихся *философами*, поднялись от ненависти к христианству к личной ненависти против его божественного Создателя. Они ненавидели его столь же реально, сколь можно ненавидеть живого врага. Особенно два человека, которые будут навеки облечены в проклятия Потомства,

отличились в этом роде коварством, которое представлялось выше сил самого развращенного человеческого естества.

**LXV.** Однако вся Европа была просвещена светом Христианства, и Предстоятели сей Религии достигли во всех ее странах огромного политического влияния, а гражданские и религиозные установления здесь будто бы переплавились между собой изумительным образом; так что можно было сказать обо всех европейских Государствах с большей или меньшей долей истины сказанное некогда Гиббоном о Франции, что «*Королевство это создавалось Епископами*». Светская философия неизбежно поспешила возненавидеть общественные установления, которые невозможно было отделить от религиозного начала. И вышло так, что все правительства, все европейские учреждения ей не понравились, ибо являлись христианскими, и *в силу* того, что они оставались христианскими, нарочитое беспокойство, всеобщее недовольство овладевало всеми умами. Особенно во Франции философское неистовство не знало границ; и вскоре один страшный голос, образовавшийся из многих слившихся голосов, завопил посреди повинной Европы.

**LXVI.** «ОСТАВЬ НАС (79)! Стоит ли вечно трепетать пред Жрецами, получая от них наставления, которые им заблагорассудится нам давать? Истина по всей Европе скрыта за курением кадил; настает время ей выйти из этого фатального облака. Мы не говорим больше о Тебе нашим детям; именно им, когда они возмужают, предстоит узнать есть ли ты, кто ты есть, и что ты просишь от них. Все сущее нам не нравится, ибо твое имя написано на всем сущем. Мы хотим все уничтожить и все возродить без Тебя. Уйди из наших советов; уйди из наших академий; уйди из наших жилищ: Мы сможем лучше действовать одни; разума нам достаточно. *Оставь нас*».

Как Бог не покарал этот мерзостный бред? Он покарал его, подобно тому, как сотворил свет одним единым словом. Он сказал: «ДЕРЗАЙТЕ!» — И политический мир сотрясся.

Вот каким образом соединяются два вида свидетельств, чтобы поразить глаза недальновидных. С одной стороны, религиозное начало руководит всеми политическими созданиями; с другой — все исчезает с тех пор, как оно отстраняется.

**LXVII.** Именно из-за того, что Европа закрыла глаза на эти великие истины, она оказалась виновной, и поскольку виновна, она страдает. И все же она отвергает еще свет и не признает поражающей ее руки. Очень мало людей среди этого материального поколения в состоянии знать о *дате, естестве и непомерности* некоторых преступлений, совершенных индивидами, Нациями и Государствами; по крайней мере, уразуметь род искупления, ставший неизбежным из-за этих кощунств, и восхитительное чудо, вынуждающее зло очистить своими собственными руками место, которое предвечный Архитектор уже измерил на глаз для своих удивитель-

ных сооружений. Люди века сего приняли в них участие. Они поклялись себе самим смотреть только на землю (80). Но будет бесполезным, возможно, даже опасным входить в самые большие подробности: ИМ нам предписано проповедовать истину с любовью (81). Более того, нужно в определенных случаях ее проповедовать лишь с почтением; и, несмотря на все воображаемые предосторожности, шаг будет рискованным даже для наиболее миролюбивого и благонадежного писателя. Впрочем, мир всегда заключает в себе множество столь испорченных людей, столь глубоко развращенных, что если бы они усомнились в определенных вещах, то смогли бы усугубить злодеяние, сделавшись, так сказать, виновными, подобно восставшим ангелам. Ах, лучше бы еще усилилось их иступление, дабы они не смогли стать виновными, насколько способны сделаться таковыми люди. Слепление, несомненно, является страшной карой; иногда, правда, оно остается еще восприимчивым к любви — это все, что, кажется, полезно сказать в данный момент.

Май 1809 года  
КОНЕЦ

(1) Человек в своем естественном состоянии обладал только правами... Вступая в общество, он отказывается от своей частной воли, чтобы подчиниться Закону, являющемуся общей волей. «Французский Обозреватель» (*Spectateur Français*. Том I, р. 194) справедливо смеется над этим определением; более того, можно заметить, что оно принадлежит столетию и, в частности, Локку, открывшему подобной столь пагубной манерой это столетие.

(2) Бержье «Религиозный исторический и догматический трактат» (*Berger. Traite hist. et dogm. de la Religion*. 8. Том 3, chap. 4, paragraphe 12, р. 330, 331. В соответствии с Тертуллианом, *Appol.* 45).

(3) Бержье. *Ibid.*

(4) «Церковь превращает своим чадам гораздо больше, чем гражданское законодательство творить самосуд; вот почему христианские Монархи к нему не прибегают, даже когда преступления посягают на самодержавную власть, передавая преступников в руки судей для исполнения наказания над ними в соответствии с законами и судебными нормами» (Паскаль. XIV письмо провинциалу). Этот отрывок очень важен и должен был бы находиться в другом месте.

(5) Я часто размышлял над этим отрывком Цицерона (*de Leg.* II, 6): «*Leges Liviae praesertim uno versiculo puncto temporis sublatae sunt*». По какому праву Сенат допустил эту вольность? И что народу оставалось делать? Легко ответить невозможно. Но чему здесь удивляться, ибо после всего написанного по римской истории и латинским древностям, понадобилось бы и в наши дни писать диссертации, чтобы узнать каким образом комплектовался Сенат.

(6) *This country is governed by a body not known by Legislature.*

(7) *Sp. London Chronicle*, V, от 4 марта 1806. Заметьте, что это слово *Legislatura* обозначает собой три власти. Из данного утверждения следует, что сам

Король игнорирует Тайный совет. Думаю, однако, что он об этом и не догадывается.

(8) «Эта беспокойная Конституция, — говорит Юм, — всегда колеблемая между прерогативой и привилегией, предоставляет множество авторитетов за и против» (Яков I — James I. 1621, chap. 47). Устанавливая таким образом истину, Юм в сугубом почтении к своей стране говорит о том, что есть, и о том, что должно быть.

(9) Это может служить Комментарием к знаменитому высказыванию Тацита: «*Pessima Republicae plurima Leges*» (лат. «В безнадежной Республике множество Законов»).

(10) Пир семи Мудрецов. Перевод Амио, гл. 70 (*Banquet des sept Sages*. Trad. d'Amyot, ch. 70).

(11) Тацит полагал, что эта форма правления всегда будет лишь идеальной теорией или преходящим экспериментом. «Лучшим из всех правлений, — говорил он, исходя, как известно, из Цицерона, — станет то, которое произойдет из смешения трех уравновешенных друг другом властей, но это правление либо никогда не сможет существовать, либо если оно и состоится, то не просуществует долго» (Анналы — *Ann.* IV, 33). Английский здравый смысл, тем не менее, способен сделать это более долговечным, чем можно было бы представить, непрерывно и по возможности поверяя теорию или то, что называется принципами, уроками опыта и сдержанности, что явилось бы невероятным, когда бы принципы оказались написанными.

(12) Весьма знаменательно, что даже Евангелисты взяли за перо гораздо позже и, главным образом, для того, чтобы опровергнуть ложные рассказы, опубликованные в их время. Канонические Послания появились также по случайной причине: никогда Писание не входило в первоначальный замысел основателей. Миль, хотя и протестант, признавал это недвусмысленно (*Proleg. in nov. test. graec.* P. I. № 65). И Гоббс сделал то же самое замечание в Англии (*Hobbes's Triplos., in three discours. Disc. The IIIth.* P. 265. in-8).

(13) *In chordis et organo*. Ps. CL. 4 (Псалом CL, стих 4).

(14) Разум может только молвить: это любовь, которая поет; и вот почему мы поем наш Символ Веры, ибо Вера является лишь доверием в любви; она пребывает не столько в рассудке, сколько еще пронизывает волю и укореняется в ней. Один философ-богослов сказал сказал очень истинно и изящно: «Есть большая разница между верой и суждением, как должно верить» — «*Alliud est credere, alliud judicare esse credendum*» (*Leon. Lessi Opuscula*. Lyon. 1651. in-folio, pag. 556, col. 2. *De Praedestinatione*).

(15) Гиббон в своих «Воспоминаниях». Том I, глава 5 французской редакции.

(16) Можно сделать то же самое замечание и относительно времен Ария. Никогда Церковь не стремилась записывать свои догматы — всегда ее к этому вынуждали.

(17) Я не знаю заметили ли Англичане, что наиболее ученый и пламенный защитник самодержавия, о котором здесь идет речь, называет так одну из своих глав: «Смешанная монархия, умеренная аристократией и демократией, лучше, чем чистая» (Беллармин — *Bellarmin. de summa Pontif. Cap. III*). Недурно для фанатика!

(18) Легко заметить при чтении, что эта статья писалась автором не во Франции. Примечание Издателя



(19) Δοξοσοφοι γεγονοτες αντι σοφων. Plat. in Phaedr. Opp. Tom. X. Edit. Bipont. P. 381.

(20) Σαμνωσ πανυ συγα (Ibid. 382).

(21) Του πατροσ αεδ δειτασ βοεθου (Ibid. p. 382).

(22) Πολλης αν ευηθειασ γεμοσ (Ibid. p. 382). Дословно: он источает глупость.

Будем бдить, каждый в своей стране, чтобы сей вид *Избытка* не стал бы постоянно возникающим.

(23+) Ευ υδατι μελανι δια καλαμου (Ibid. p. 384).

(24) Νομουσ τιθεισ, συγραμμα πολιτικον γραφων (Ibid. p. 386).

(25) Ιδια η δημοσια (Ibid.).

(26) Ειτε τισ φησιν, ειτε μη (Ibid.).

(27+) Ουκ εκφευγει τη αληθεια μη ουκ επονειδιζον ειναι, ουδε αν ο πασ οχλοσ αυτο εωαινεση (Ibid. p. 386, 387).

(28) Иоанн Златоуст — Chrysost. Hom. in Matth. I, 1.

(29) Среди множества восхитительных мыслей, коими искрятся Псалмы Давида, я различаю следующую: «*Constitut Domine legislatorem super eos, ut sciant quoniam homines sunt*»; «Поставь, Господи, Законодателя над ними, дабы знали они, что суть люди». Прекрасное изречение!

(30) См. стр. с прим. 19 и сл.

(31) Σεμνωσ πανυ συγα. Plat. Ibid.

(32) Руссо и Мабли.

(33) Лондон, 1797 — Londres, 1797. Chap. IX, p. 160.

(34) Можно даже обобщить утверждение и объявить без всякого исключения: «*Нигде никакое установление не способно быть долговечным, если оно не основывается на Религии*».

(35) Платон в великолепном фрагменте, напоминающем мозаику, говорит о первоначальном времени, когда Бог доверял установление и устройство Империй не Людям, но Ангелам; затем он добавляет, говоря о трудности создания долговечных Конституций: «*Истина даже, что если бы Бог не руководил в основании Града, который имел бы только человеческое начало, то городу нельзя было бы избежать страшных бед. Итак, необходимо всеми воображимыми средствами стараться подражать первоначальному порядку; и мы, доверившись тому, что есть бессмертного в человеке, должны создать свои дома, а равно и Государства, освящая как Законы волю (высшего) разума. Если Государство (каковой бы не была его форма) основано на пороке и управляемо людьми, попирающими ногами Правосудие, ему не остается никакой надежды на спасение*. Ουκ εστ σωτριασ μηχανη (Plat. de Leg. Tom VIII. Edit. Bib. p. 180, 181).

(36) На научных диспутах широко использовалось знаменитое правило Ришара де Сен-Виктора (Richard de Saint-Victor): «*Quod semper, quod ubique, quod ab omnibus*». Это общее правило, полагаю, может быть выражено следующим образом: *всякое постоянное всемирное вероисповедание является истинным; и всякий раз, когда отделяются от какого-нибудь вероисповедания по определенным воззрениям, свойственным различным Нациям, остается нечто общее со всеми; этот Остаток и есть истина*.

(37) Всякая религия по самой природе вещей *двигает* ей подобающую Мифологию. Мифология христианской Религии, исходя из сего смысла, всегда является целомудренной и чаще всего возвышенной, без чего (по особому преимуществу)

ей было бы никогда невозможно слиться с самой Религией. Так, что никакой христианский *Миф* не может повредить, и зачастую он заслуживает всяческого внимания исследователя.

(38) Xenophon. Memor. Socr. I. 4. 16.

(39) Кондорсе показал по правде, отчего Философы непрестанно заботились о Цивилизации и счастье варварских Наций («*Набросок исторического Обзорения прогресса человеческого разума*» — *Esquisse d'un Tableau historique des progres de l'esprit humain*. In-8. p. 335). Мы ожидаем, что они хотели бы начать лучше.

(40) Esquisse, etc. (Ibid. p. 335).

(41) Письмо Парижскому архиепископу.

(42) «*Ах, друзья мои, почему не остались вы в вашей Отчизне? Вы не нашли бы в ней больше чертей, но нашли бы в ней больше глупостей*» (Вольтер, «Эссе о Рассудке и Нравах» — «*О Магии*»: Voltaire. Essai sur l'Esprit et les Moeurs, etc. Tom. I. Intro. in-8. p. 157, de la Magie).

В других местах ищите больше безрассудства, непристойности и даже дурного вкуса; вы в этом не преуспеете. Впрочем, эта книга, редкие из Глав которой избавлены от подобных мыслей, является *разукрашенной безделушкой*, что современные энтузиасты не побоялись назвать *памятником человеческого разума*. Несомненно, как Версальская Капелла и Полотно Буше (Франсуа Буше (1703-1770) был знаменитым художником эпохи рококо; автор ярко и нарочито сравнивает «пышный» и фривольный стиль Вольтера с «разукрашенной безделушкой» художественной культуры рококо — прим. пер.).

(43) Правивший в Египте Осирис неудержимо увлек Египтян от бедной, страдальческой и дикой жизни, научив их сеять и выращивать; установив у них законы; показав им как чтить Богов и благоговеть перед ними. И с тех пор, шествуя по всему свету, он его приручил, не применив никакого оружия, но увлекая и обращая большую часть народов мягкими увещеваниями и внушениями, воплощенными в песнопениях и других видах музыки (πειθαи και λογο μευ ωδησ πασησ μουσικησ), о котором Греки думали, будто бы это и был сам Вакх (Плутарх, «Об Исиде и Осирисе» — Plutarch. de Iside et Osiride. Trad. d'Amyot. Paris. Cussac. 1802. OEuvres Morales. Tom. V. p. 239. Edit. Henr. Steph. 1572. in-8. Tom. I. p. 634).

Еще недавно на одном из островов реки Пенобскот (Penobscot) обнаружилась дикая народность, исполнявшая большое количество религиозных и воспитательных Песнопений на туземном языке и по-церковному с совершенством, едва ли встречающимся в лучших хорах; одна из самых замечательных арий Бостонской церкви ведет свое происхождение от этих индейцев (обученных своими учителями более сорока лет тому назад), которые с тех пор не могли пользоваться никакими благами образования («Меркюр де Франс» — Merc. de France. 5 juillet, 1806. № 259, p. 29 и сл.).

Отец Сальватерра (прекрасное имя Миссионера!), справедливо названный Апостолом Калифорнии, сошелся с самыми несговорчивыми дикарями, о которых никогда и не имели представления, благодаря Лютне: на ней патер великолепно играл (лат. Salvaterra означает земля Спасения — прим. пер.). Он принялся петь: «*In voi credo o Dio mio!*» и т. д. Его обступили мужчины и женщины и слушали в тишине. Муратори говорит, ведя речь об этом замечательном

человеке: «*Pare favola quella d'Orfeo; ma chi sa che non sia succeduto in simil caso?*» Одни Миссионеры понимали и доказывали истину этой сказки. Даже понятно, что они открывали вид музыки, достойный приобщать к сим великим творениям. «Пришлите нам, — писали они своим друзьям в Европе, — пришлите нам арии великих маэстро Италии; *Per essere armonissimi, senza tanti imbrogli di violini obbligati etc.*» (Muratori *Christianesimo felice*, etc. Vinezia. 1752. in-8. Cap. XII, p. 284).

(44) *Loquebar de testimoniis tuis in conspectu Regum; et non confundebam* (Ps. CXVIII. 46) — «*Буду говорить об откровениях Твоих пред царями и не постыжусь*» («Псалтирь», Псалом 118, стих 46). Этой надписи, помещенной под портретом Бурдалу, заслужили и некоторые из его коллег.

(45) Я не позволю себе публиковать сведения, ставшие мне известными, какую бы ценность они не представляли; но, думаю, каждому позволительно переиздать уже изданное, дав возможность Немцу поговорить о Германии. Вот как выражается об Университетах своей страны человек, которого никто не обвинит в пристрастии к античным идеям:

«Все Университеты Германии, даже лучшие из них, нуждаются в больших реформах по части, касающейся нравов... Лучшие заведения являют собой пропасть, в которой губятся от безденежья невинность, здоровье и будущее счастье многих молодых людей, откуда выходят существа с разрушенными телом и душой, более обременительные обществу, нежели полезные для него... Пусть эти страницы станут предостережением для молодых людей! Пусть они читают на вратах наших Университетов следующую надпись: «*Молодой человек! Здесь много тебе подобных утратили счастье и невинность*».

(Господин Кампе, «Рекомендованные путешествия для Наставления Юношества» — Mr. Campre. Rec. de Voyages pour l'Instr. de la Jeunesse. in-12. T. II, p. 129).

(46) Посмотрите его воспоминания, где, сделав прекрасные разоблачения Университетов своей страны, он говорит и об Оксфордском университете: «*Он может отказать мне за сына столь же добродушно, сколь я его не признаю за мать*. Я не сомневаюсь, ведь эта нежная и, как должно, чувствительная мать не удостоилась бы за подобное заявление великолепной Эпитафии: LUBENS MERITO».

Кавалер Уильям Джонс в своем письме к господину Анкетилу излагает с противоположным пристрастием, и это пристрастие делает ему честь.

(47) Грек сказал бы: «*Προς ελασφορισμῶν*». Можно было бы сказать «к *полному Восстановлению*»; выражение, которое философия может удачно позаимствовать у юриспруденции и которое в этом новом качестве будет использоваться с абсолютной точностью. Что касается противостояния и равновесия двух сил, то достаточно открыть глаза: «*Добро противоположно злу, а жизнь смерти... Рассмотрите все труды Всевышнего: вы в них найдете одно и другое, и противоположное друг другу*» (Ессл. XXXIII. 15).

Стати, можно прийти к выводу, что именно отсюда происходит правило *Пре-красного Идеала*. В природе нет ничего, каковым оно должно быть, и подлинный артист тот, кто может сказать, что «*EST DEUS IN NOBIS*» («ГОСПОДЬ, СУЩИЙ В НАС»), обладая таинственной властью отличать наименее искаженные черты, и собирать их, чтобы создавать из них существующее только в своем умозрении.

(48) *Difficile est mutare in melius* (Занотти, цитируемый в *Transunto della R. Accademia di Torino*. 1788. — 89. in-8. p. 6).

(49) АФЕЕИ. Если хочется выразить эту мысль более лаконично, избавившись от всякой грамматической вольности, то будет: «*БЕЗ БОГА НИЧЕГО ХОРОШЕ-ГО*» (*Ориген, «Против Цельса» — Orig. Cels. I. 26. Ed. Ruoei. Paris, 1733. in-fol. Tom I. p. 345*).

(50) *Nihil motum ex Antiquo probabile est* (Тит Ливий — Tit. Liv. XXXIV, 53).

(51) «*Нужно, говорят, прибегать к фундаментальным первоначальным законам Государства, отмененным несправедливым обычным правом. Это опрометчивая шутка. Ничего не будет верным при оном равновесии. Однако народ легко подставляет уши для подобных рассуждений*» (Паскаль, «Мысли» — Pascal. *Pensees*, prem. part, Art. VI, Paris, Renouard, 1803, pag. 121, 122).

Не сумев лучше постичь, всегда знайте, что сие лишь человек! Автор приведенного наблюдения и его отвратительная секта не прекращали играть этой неподражаемой *шуткой*, чтобы все погубить; и, действительно, *шутка* в совершенстве преуспела. Вольтер, впрочем, выразился по данной теме наподобие Паскаля: «*Это весьма тщетная идея, весьма неблагодарный труд желать все возратить к древним обычаям*» и т. д. («Опыт всеобщей истории» — *Essai sur l'hist. gen.*, t. II, chap. 85, p. 403). Послушайте затем, что он говорит о Папах, и вы увидите, как он напоминает о своей максиме.

(52) По крайней мере, по отношению к достоинству установления, ведь с иных точек зрения ими, вероятно, очень важно заниматься.

(53) Данте, обращаясь к Вергилию — и это нужно признать — воздавал ему слишком мало чести: «*Maestro di color che sanno — Parini*». Хоть Вергилий и обладал поврежденным рассудком, все же у него хватило бы смелости сказать Вольтеру, пародируя Данте, следующее: «*Di colore che credon di sapere*» («Il Matino»). Точное выражение.

(54) «Обозрение времени Людовика XV» — *Precis du siecle Louis XV*, chap. 42.

(55) *Ludens in orbe Terrarum*. Prov. VIII. 31.

(56) «Принцип, который всякую легитимную власть выводит из народа сам по себе представляется благородным и очевидным; однако он оказывается ложным благодаря бремени истории и опыта» (*Юм* цит. по базельскому изданию — *Hume, Hist. d'Anglet. Charles I, ch. 59. Ann. 1642. Edit. angl. de Bale*, 1789, in-8, pag. 120).

(57) «*Философская Декада*» — *Decade Philosophique*, Octobre 1797, n. I. pag. 31 (1809). Этот фрагмент, недавно вышедший в свет, обладает двумя достоинствами, будучи в высшей степени забавным и призывающим к размышлению. В нем видно, какими идеями убаюкивали этих детей, которые узнали о том, что человек обязан знать прежде всего. С тех пор новый порядок вещей достаточно опроверг эти красивые фантазии, и если вся Европа влекома сегодня в Париж, то вовсе не для того, чтобы посмотреть здесь *Олимпийские Игры* (1814).

(58) Посмотрите примечание Шпанхейма (Spanheim) на VII стих «Гимна Диане» Каллимаха. *Lanzi. Saggio di letteratura Etrusca*, etc., in-8. Tom. II, p. 241. Примечание. Гимны Гомера по сути являются только собраниями эпитетов, что и соответствует самому принципу *Полионимии*.

(59) «Книга пророка Исайи» — Глава 40, стих 26.

(60) Вспоминается самое великое, божественным образом и напрямую данное человеку имя. Смысл имени в этом случае был дан вместе с именем; и имя выражает непременно предназначение, или, что одно и то же, силовое качество.

(61) «Апокалипсис» — Глава 3, стих 12.

(62) Данное наблюдение было сделано анонимным, но очень известным автором в книге, озаглавленной: *Die Siegesgeschichte der christlichen Religion, in einer gemeinnuetzigen Erklarung der Offenbarung* Johannis, in-8. Nuremberg, 1799, pag. 89. Невозможно ничего сказать против этого.

(63) Num. XVI. 2.

(64) Геродот, «Герпсихора» — Herod. Terpsic. V. 7.

(65) *Ориген, «Против Цельса»* — Orig. adv. Cels. I. 18, 24, p. 341, et in exhort. ad. Martyr., et in not. Edit. Ruoei, in-fol. t. I, p. 305, 341.

(66) *Платон — Plato. in Orat. Opp. T. III, p. 244.*

(67) «Настолько», как об этом заметил Дионисий Галикарнасский, что «если Эпитет является *отличительным и естественным* (συνετα και προσφους), то он довлеет в рассуждении наравне с именем» («О поэзии Гомера», глава 6). Можно даже в определенном смысле сказать, что он лучше, поскольку удостоился возникновения без ущерба неологизма.

(68) Я не припоминаю никакого знаменитого эпитета у Вольтера, что, с моей стороны, возможно, по недостатку памяти.

(69) Вот, чтобы ответить на вашу фразу: «*находясь другой день в Керамике*» и т. д. (Цицерон, «К Аттику» — Cic. ad Att. II. 6).

(70) С определенной широтой толкования, которая заключает в себе еще идею *черепичного производства*.

(71) «Это совсем не значит, что одни и те же пьесы, исполняемые в *Одеоне*, производят на меня такое же впечатление, как и некогда полученное мной в старом *Музыкальном Театре*, где я их слушал с восхищением. Наши артисты утратили традицию этого шедевра (*Stabat* Перголезе): он написан для них на чужом языке, и они произносят его нотами, не зная смысла; их исполнение сродни зеркалу, лишнему души, чувства и выражения. Сам Оркестр играет машинально и со слабостью, убивающей действие. Древняя Музыка (*и какова же она?*) является соперницей наиболее возвышенной поэзии; современная музыка лишь соперница птичьего щебетания. Пусть наши виртуозы прекращают портить великолепные произведения; пусть они не играют (в особенности) Перголезе: он слишком сложен для них».

(«Имперская Газета» — Journal de l'Empire, 28 mars 1812).

(72) Во второй книге Илиады Улисс (Одиссей — прим. пер.) хочет помешать вероломному отказу Греков от их затеи. Если он встречается посреди смуты, вызванной недовольными, какого-нибудь царя или аристократа, он его, в целях убеждения, увещевает кроткими словами; но если ему попадает под руку *человек из народа* (δημιον ανδρο), он его *сильно колотит скипетром* (замечательный галлицизм — Ж. де М.; фр. gosses означает колотить; этот глагол сродни русским розгам — прим. пер.).

Некогда Сократу вменялось за преступление то, что он, зная стихи, которые Улисс произносит в данном случае, привел их, чтобы доказать народу, что он ничего не значит и что народ ничто (*Ксенофонт — Xenoph. Memor. Socr. I. 2, 20*).

К истории Скипетра можно добавить еще и место из Пиндара, где он рассказывает забавную быль о том, как древний царь Родоса избил на площади собственного шурина, поразив его в мгновение ока и без злого умысла *«скипетром, к несчастью, оказавшимся сделанным из слишком твердого древа»* (Olymp. VII. v. 49 — 53). Прекрасный урок, чтобы ссылаться на скипетры!

(73) Коннетабль является только гальским сокращением *Comes stabuli*; *Товарищ* или *управитель князя по Конюшням*.

(74) «Меркюр де Франс» — Mercure de France, 17 juin 1809, p. 413, page 679.

(75) Так, к примеру, если какой-нибудь человек или самодержец именуется сам *Законодателем*, это уже доказательство того, что он им не является; и если собрание осмеливается называться *Законодательным*, то это не только доказательство, что таковым оно не является, но еще и доказательство, что оно лишилось рассудка и вскоре будет подвергнуто всеобщему осмеянию.

(76) Нужно еще обратить внимание на смешение добродетелей, соотношение которых бесконечно варьируется. Когда показаны те же самые виды злоупотреблений в разное время и разных местах, представляется по праву заключить, что *люди всегда были одними и теми же*. Нет софизма более грубого и более общего.

(77) Жуанвиль (Joinville) в собрании Воспоминаний, касающихся истории Франции. In-8, tom. II, pag. 160.

(78) Смотрите, к примеру, с какой логической силой он сокрушил материализм в статье «Левкипп» своего словаря.

(79) *Dixerunt Deo: Recede a Nobis! Viam mandatorum tuorum nolumus* (Job. XXI, 14). «А между тем они говорят Богу: отойди от нас, не хотим знать путей Твоих!» («Книга Иова» — Глава XXI, стих 14).

(80) *Oculus suos statuerunt declinare in terram* (Ps. XVI. 2). «От Твоего лица суд мне да изыдет; да воззрят очи Твои на правоту» («Псалтирь» — Псалом 16, «Молитва Давида», стих 2).

(81) Αληθεν'οντες εν αγαπη. Ephes. IV, 15. «Но истинною любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос» («Послание к Ефесянам святого апостола Павла» — Глава 4, стих 15). Греческое выражение не переводимо. Вернее его возможно передать только в латинской Вульгате: «*Facientes veritatem in amore*» («*Исполнитесь истинною в любви*»).